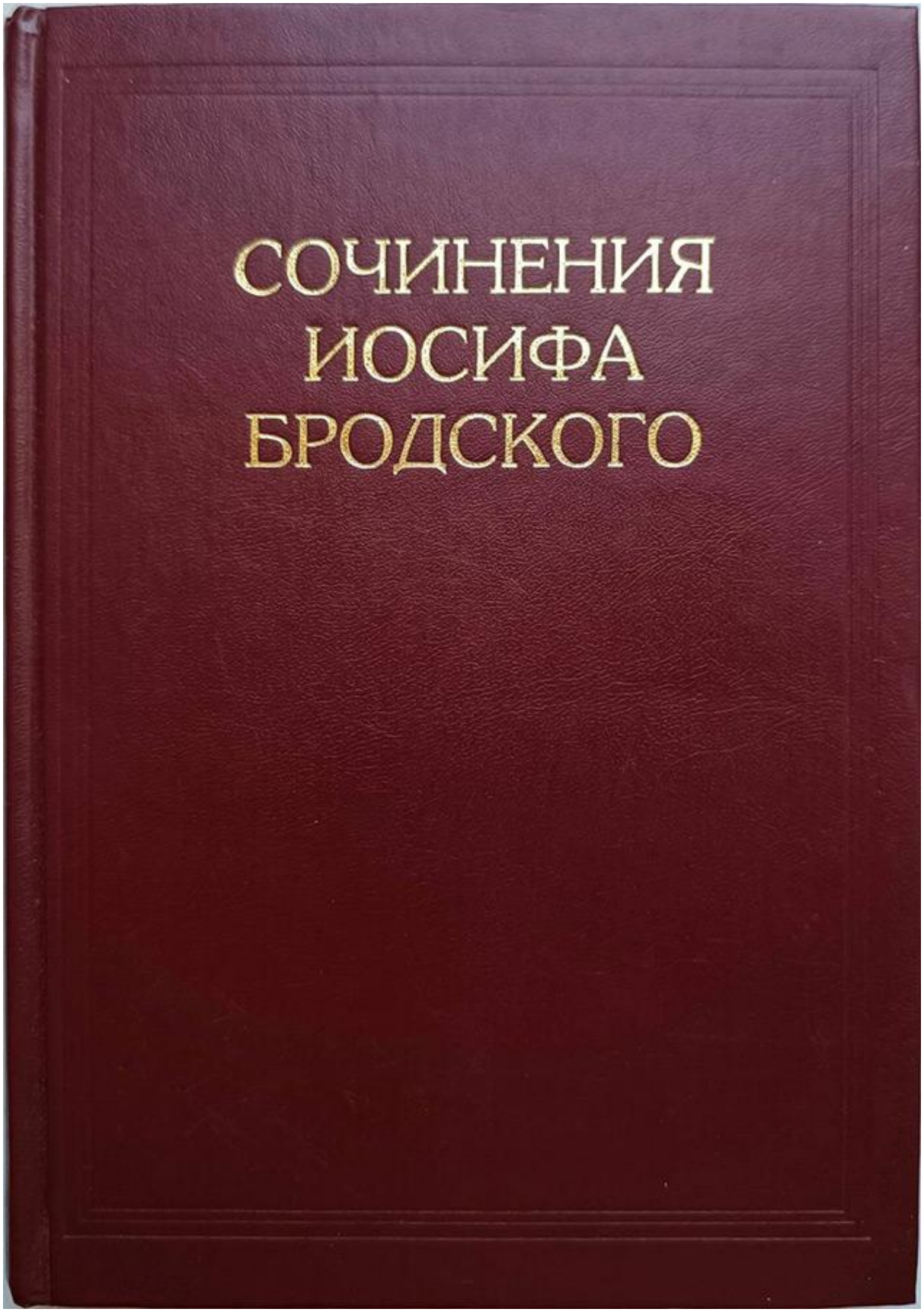
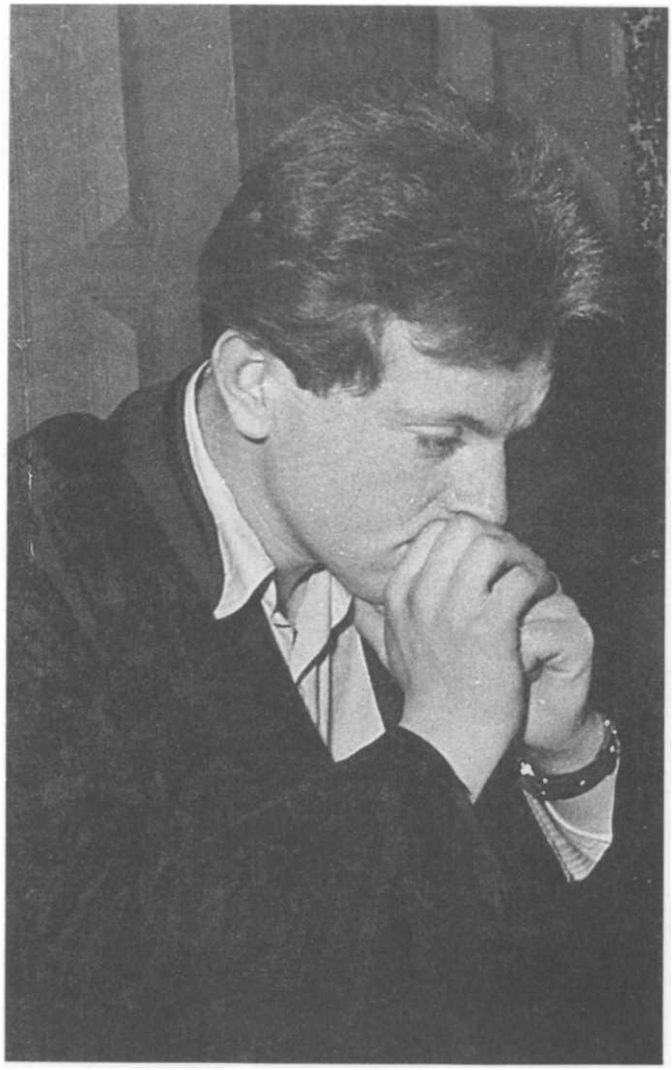

СОЧИНЕНИЯ
ИОСИФА
БРОДСКОГО



ПУШКИНСКИЙ ФОНД

СОЧИНЕНИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО ТОМ 1



I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ММI
УДК 882Б2 ББК 84.Р7 Б 88

Общая редакция Я. А. Гордин
Составитель Г. Ф. Комаров
Художник С. А. Остров
Первый и второй тома настоящего издания подготовлены на основе собрания стихотворений И. Бродского, составленного В. Марамзиным в 1972 году
ISBN 5-89803-066-2 (т. I) © ISBN 5-89803-065-4
© ©
Joseph Brodsky
«Фонд Наследственного Имущества Иосифа Бродского», 2001 Г. Ф. Комаров, составление, 2001 С. А. Остров, оформление, 2001

• Из Книг Библиотеки TopLib.net •

НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ*

I

Для человека частного, и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и, в частности, от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание.

Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться что называется «урби эт орби» с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.

Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что — по причинам прежде всего стилистическим — писатель не может говорить за писателя, особенно — поэт за поэта; что окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уистен Оден, они невольно говорили бы именно за самих себя и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость.

Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае, они не поощряют меня к

Прочитана И. А. Бродским при вручении ему Нобелевской премии 1987 года по литературе.

красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой — но всегда меньшей, чем любая из них в отдельности. Ибо быть лучше них на бумаге невозможно; невозможно быть лучше них и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они ни были, заставляют меня часто — видимо, чаще, чем следовало бы — сожалеть о движении времени. Если тот свет существует — а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой, — если тот свет существует, то они, надеюсь, простят меня и качество того, что я собираюсь изложить: в конце концов, не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится.

Я назвал лишь пятерых — тех, чье творчество и чьи судьбы мне дороги хотя бы уже потому, что, не будь их, как человек и как писатель я бы стоил немногого: во всяком случае я не стоял бы сегодня здесь. Их, этих теней — лучше: источников света — ламп? звезд? — было, конечно же, больше, чем пятеро, и любая из них способна

обречь на абсолютную немоту. Число их велико в жизни любого сознательного литератора; в моем случае оно удваивается благодаря тем двум культурам, к которым я волею судеб принадлежу. Не облегчает дела также и мысль о современниках и собратьях по перу в обеих этих культурах, о поэтах и прозаиках, чьи дарования я ценю выше собственного и которые, окажись они на этой трибуне, уже давно бы перешли к делу, ибо у них есть больше что сказать миру, нежели у меня.

Поэтому я позволю себе здесь ряд замечаний — возможно, нестройных, сбивчивых и могущих озадачить вас своей бессвязностью. Однако количество времени, отпущенное мне на то, чтоб собраться с мыслями, и самая моя профессия защитят меня — надеюсь, хотя бы отчасти — от упреков в хаотичности. Человек моей профессии редко претендует на систематичность мышления; в худшем случае, он претендует на систему. Но и это у него, как правило, заемное: от среды, от общественного устройства, от занятий философией в нежном возрасте. Ничто не убеждает художника более в случайности средств, которыми он пользуется для достижения той или иной — пусть даже и постоянной — цели, нежели самый творческий процесс, процесс сочинительства. Стихи, по слову Ахматовой, действительнее растут из сора; корни прозы — не более благородны.

Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную — но не стихотворение, скажем, Райнера Мария Рильке. Произведение искусства — литература в особенности и стихотворение в частности — обращается к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности, ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия — равнодушие и разногласие, на месте решимости к действию — невнимание и брезгливость. Иными словами, в нолики, которыми ревнители всеобщего блага и повелители масс норовят оперировать, искусство вписывает «точку-точку-запятую с минусом», превращая каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу.

Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую «лица необщим выраженьем». В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит прежде всего в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию — тем более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по чьему наущению человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним вместе не лягут и спасибо не скажут.

Язык и, думается, литература — вещи более древние, неизбежные и долговечные, нежели любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой зачастую по отношению к государству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше сказать — бесконечного, по отношению к временному, к ограниченному. По крайней мере, до тех пор, пока государство

позволяет себе вмешиваться в дело литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще, есть, по определению, форма прошедшего времени, пытающегося навязать себя настоящему (а зачастую и будущему), и человек, чья профессия язык, — последний, кто может позволить себе позабыть об этом. Подлинной опасностью для писателя является не столько возможность (часто реальность) преследования со стороны государства, сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему — но всегда временными — очертаниями.

Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике, — всегда «вчера»; язык, литература — всегда «сегодня» и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной политической системы — даже и «завтра». Одна из заслуг литературы в том и состоит, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почетным именем «жертвы истории». Искусство вообще — и литература в частности — тем и замечательно, тем и отличается от жизни, что всегда бежит повторения. В обыденной жизни вы можете рассказать тот же самый анекдот трижды и, трижды вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобная форма поведения именуется «клише». Искусство есть орудие безоткатное, и развитие его определяется не индивидуальностью художника, но динамикой и логикой самого материала, предыдущей судьбой средств, требующих найти (или подсказывающих) всякий раз качественно новое эстетическое решение. Обладающее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно истории, и способом его существования является создание всякий раз новой эстетической реальности. Вот почему оно часто оказывается «впереди прогресса», впереди истории, основным инструментом которой является — а не уточнить ли нам Маркса? — именно клише.

На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, следует литературе говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» именно потому, что в эстетике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленый младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, к нему тянущийся, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный.

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание — всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо иного) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума,

чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее.

Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом, смысле следует понимать замечание Достоевского, что «красота спасет мир» или высказывание Мэтью Арнолда, что «нас спасет поэзия». Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Эстетическое чутье в человеке развивается весьма стремительно, ибо, даже не

полностью отдавая себе отчет в том, чем он является и что ему на самом деле необходимо, человек, как правило, инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает. В антропологическом смысле, повторяю, человек является существом эстетическим прежде, чем этическим. Искусство поэтому, в частности литература, не побочный продукт видового развития, а ровно наоборот. Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного царства, является речь, то литература — и, в частности, поэзия, будучи высшей формой словесности, — представляет собой, грубо говоря, нашу видовую цель.

Я далек от идеи поголовного обучения стихосложению и композиции; тем не менее подразделение общества на интеллигенцию и всех остальных представляется мне неприемлемым. В нравственном отношении подразделение это подобно подразделению общества на богатых и нищих; но если для существования социального неравенства еще мыслимы какие-то чисто физические, материальные обоснования, для неравенства интеллектуального они немыслимы. В чем-чем, а в этом смысле равенство нам гарантировано от природы. Речь идет не об образовании, а об образовании речи, малейшая приблизительность в которой чревата вторжением в жизнь человека ложного выбора. Существование литературы подразумевает существование на уровне литературы — и не только нравственно, но и лексически. Если музыкальное произведение еще оставляет человеку возможность выбора между пассивной ролью слушателя и активной — исполнителя, произведение литературы — искусства, по выражению Монтале, безнадежно семантического — обрекает его на роль только исполнителя.

В этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще, чем в какой-либо иной. Более того, мне кажется, что роль эта в результате популяционного взрыва и связанной с ним все возрастающей атомизацией общества, т. е. со все возрастающей изоляцией индивидуума, становится все более неизбежной. Я не думаю, что я знаю о жизни больше, чем любой человек моего возраста, но мне кажется, что в качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение — не монолог, но разговор писателя с читателем — разговор, повторяю, крайне частный, исключающий всех остальных, если угодно — обоюдно мизантропический. И в момент этого разговора писатель равен читателю, как, впрочем, и наоборот,

1 о

независимо от того, великий он писатель или нет. Равенство это — равенство сознания, и оно остается с человеком на всю жизнь в виде памяти, смутной или отчетливой, и рано или поздно, кстати или некстати определяет поведение индивидуума. Именно это я и имею в виду, говоря о роли исполнителя, тем более естественной, что роман или стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя.

В истории нашего вида, в истории «сапиенса», книга — феномен антропологический, аналогичный, по сути, изобретению колеса. Возникшая для того, чтоб дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том, на что «сапиенс» этот способен, книга является средством перемещения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. Перемещение это в свою очередь, как

всякое перемещение, оборачивается бегством от общего знаменателя, от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению. Бегство это — бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону числителя, в сторону личности, в сторону частности. По чьему бы образу и подобию мы ни были созданы, нас уже пять миллиардов, и другого будущего, кроме очерченного искусством, у человека нет. В противном случае нас ожидает прошлое — прежде всего политическое, со всеми его массовыми полицейскими прелестями.

Во всяком случае, положение, при котором искусство вообще и литература в частности являются в обществе достоянием (прерогативой) меньшинства, представляется мне нездоровым и угрожающим. Я не призываю к замене государства библиотекой — хотя мысль эта неоднократно меня посещала, — но я не сомневаюсь, что, выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя. Мне думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. Хотя бы уже по одному тому, что насущным хлебом литературы является именно человеческое разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается надежным противоядием от каких бы то ни было — известных и будущих — попыток тотального, массового подхода к ре-

шению проблем человеческого существования. Как система нравственного, по крайней мере, страхования, она куда более эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина.

Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступление против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое — пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация — она платит за это своей историей. Живя в той стране, в которой я живу, я первый был бы готов поверить, что существует некая пропорция между материальным благополучием человека и его литературным невежеством; удерживает от этого меня, однако, история страны, в которой я родился и вырос. Ибо сведенная к причинно-следственному минимуму, к грубой формуле, русская трагедия — это именно трагедия общества, литература в котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской интеллигенции.

Мне не хочется распространяться на эту тему, не хочется омрачать этот вечер мыслями о десятках миллионов человеческих жизней, загубленных миллионами же, — ибо то, что происходило в России в первой половине XX века, происходило до внедрения автоматического стрелкового оружия — во имя торжества политической доктрины, несостоятельность которой уже в том и состоит, что она требует человеческих жертв для своего осуществления. Скажу только, что — не по опыту, увы, а только теоретически — я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего. И я говорю именно о чтении Диккенса, Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла и т. д., т. е. литературы, а не о грамотности, не об образовании. Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, тот или иной политический трактат прочтя, убить себе подобного и даже испытать при этом восторг убеждения. Ленин был грамотен, Сталин был грамотен,

Гитлер тоже; Мао Дзедун, так тот даже стихи писал; список их жертв тем не менее далеко превышает список ими прочитанного.

1 2

Однако, перед тем как перейти к поэзии, я хотел бы добавить, что русский опыт было бы разумно рассматривать как предостережение хотя бы уже потому, что социальная структура Запада в общем до сих пор аналогична тому, что существовало в России до 1917 года. (Именно этим, между прочим, объясняется популярность русского психологического романа XIX века на Западе и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения, сложившиеся в России в XX веке, представляются, видимо, читателю не менее диковинными, чем имена персонажей, мешая ему отождествить себя с ними.) Одних только политических партий, например, накануне октябрьского переворота 1917 года в России существовало уж никак не меньше, чем существует сегодня в США или Великобритании. Иными словами, человек бесстрастный мог бы заметить, что в определенном смысле XIX век на Западе еще продолжается. В России он кончился; и если я говорю, что он кончился трагедией, то это прежде всего из-за количества человеческих жертв, которые повлекла за собой наступившая социальная и хронологическая перемена. В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор.

III

Хотя для человека, чей родной язык — русский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение, я хотел бы теперь переменить тему. Недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты. В этом их соблазн, сходный по своей природе с соблазном социального реформатора, зло это порождающего. Осознание этого соблазна и отталкивание от него в определенной степени ответственны за судьбы многих моих современников, не говоря уже о собратьях по перу, ответственны за литературу, из-под их перьев возникшую. Она, эта литература, не была ни бегством от истории, ни заглушением памяти, как это может показаться со стороны. «Как можно сочинять музыку после Аушвица?» — вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить тот же вопрос, заменив в нем название лагеря, — повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. «А как после Аушвица можно есть ланч?» — заметил на это как-то американский поэт Марк Стрэнд. Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку.

Это поколение — поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной, самой природой, казалось, санкционированной власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях и в безымянных общих могилах сталинского архипелага Тот факт, что не все прервалось — по крайней мере в России, — есть в немалой мере заслуга моего поколения, и я горд своей к нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом — точней, на пугающем своей опустошенностью — месте и что скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием.

Существовал, вероятно, другой путь — путь дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекшегося дыхания. Если мы от него отказались, то вовсе не потому, что он казался нам путем самодраматизации, или потому, что мы были чрезвычайно одушевлены идеей сохранения наследственного благородства известных нам форм культуры, равнозначных в нашем сознании формам человеческого достоинства. Мы отказались от него, потому что выбор на самом деле был не наш, а выбор культуры — и выбор этот был опять-таки эстетический, а не нравственный. Конечно же, человеку естественней рассуждать о себе не как об орудии культуры, но наоборот, как о ее творце и хранителе. Но если я сегодня утверждаю противоположное, то это не потому, что есть определенное очарование в перефразировании на исходе XX столетия Плотина, лорда Шефтсбери, Шеллинга или Новалиса, но потому, что кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования. Язык же — даже если представить его как некое одушевленное существо (что было бы только справедливым) — к этическому выбору не способен.

Человек принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям: чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтоб запечатлеть душевное состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить — как он думает в эту минуту — след на земле. Он прибегает к этой форме — к стихотворению — по соображениям скорей всего бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, — немедленное последствие этого предприятия — ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее — ощущение немедленного впадания в зависимость от оного, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено.

Зависимость эта — абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает. Ибо будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом — то есть всем лежащим впереди временем. И потенциал этот определяется не столько количественным составом нации, на нем говорящей, хотя и этим тоже, сколько качеством стихотворения, на нем сочиняемого. Достаточно вспомнить авторов греческой или римской античности, достаточно вспомнить Данте. Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Или, как сказал великий Оден, он — тот, кем язык жив. Не станет меня, эти строки пишущего, не станет вас, их читающих, но язык, на котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не

только потому, что язык долговечнее человека, но и потому, что он лучше приспособлен к мутации.

Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его

настоящее. Существует, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки, — посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом.

1957-1961
Прощай,
позабудь
и не обессудь.
А письма сожги,
как мост.
Да будет мужественным
твой путь,
да будет он прям
и прост.
Да будет во мгле
для тебя гореть
звездная мишура,
да будет надежда
ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели,
снега, дожди
и бешеный рев огня,
да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.
Да будет могуч и прекрасен
бой,
гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
которым с тобой,
может быть,
по пути.
1957
Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
Для себя пели.
Для себя копили.
Для других умирали.

Но сначала платили налоги,
уважали пристава
и в этом мире, безвыходно материальном,
толковали талмуд,
оставаясь идеалистами.
Может, видели больше.
А возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.
А потом — их землей засыпали,
зажигали свечи,
и в день Поминовения
голодные старики высокими голосами,
задыхаясь от холода,
кричали об успокоении.
И они обретали его.
В виде распада материи.
Ничего не помня.
Ничего не забывая.
За кривым забором из гнилой фанеры,
в четырех километрах от кольца трамвая.

ПИЛИГРИМЫ

Мои мечты и чувства в сотый раз
идут к тебе дорогой пилигримов.
В. Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды встают над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,

мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

Что дозволено Юпитеру,
то не дозволено быку.

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
в каждом из нас
Бог.
Ибо вечность —
богам.
Бренность —
удел быков...
Богово станет
нам
сумерками богов.
И надо небом
рискнуть,
и, может быть,
невпопад.
Еще нас не раз
распнут
и скажут потом:
распад.
И мы завоем от ран.
Потом взалкаем даров...
У каждого свой
храм.
И каждому свой гроб.
Юродствуй,
воруй,
молись!
Будь одинок,
как перст!..
...Словно быкам —

хлыст,
вечен богам
крест.
ЛИРИКА
О. Б.
Через два года
высохнут акации,
упадут акции,
поднимутся налоги.
Через два года
увеличится радиация.
Через два года.
Через два года.
Через два года
истреплются костюмы,
перемелем истины,
переменим моды.
Через два года
износятся юноши.
Через два года.
Через два года.
Через два года
поломаю шею,
поломаю руки,
разобью морду.
Через два года
мы с тобой поженимся.
Через два года.
Через два года.
1959
СТИХИ ОБ ИСПАНЦЕ МИГУЭЛЕ СЕРВЕТЕ,
ЕРЕТИКЕ, СОЖЖЕННОМ КАЛЬВИНИСТАМИ
Истинные случаи иногда становятся притчами.
Ты счел бы все это, вероятно, лишним.
Вероятно, сейчас
ты испытываешь безразличие.
О
Впрочем, он
не испытывает безразличия,
ибо от него осталась лишь горсть пепла,
смешавшегося с миром, с пыльной дорогой,
смешавшегося с ветром,
с большим небом,
в котором он не находил Бога.
Ибо не обращал свой взор к небу.
Земля — она была ему ближе.
И он изучал
в Сарагосе право Человека
и кровообращение Человека —
в Париже.

Да. Он никогда не созерцал
Бога
ни в себе,
ни в небе,
ни на иконе,
потому что не отрывал взгляда
от человека и дороги.
Потому что всю жизнь уходил
от погони.
Сын века — он уходил от своего
века,
заворачиваясь в плащ
от соглядатаев,
голода и снега.
Он, изучавший потребность
и возможность
человека,
Человек, изучавший Человека
для Человека.
Он так и не обратил свой взор
к небу,
потому что в 1653 году,
в Женеве,
он сгорел между полюсами века:
между ненавистью человека
и невежеством человека.
1959

ЭЛЕГИЯ

Издержки духа — выкрики ума
и логика, — вы равно хороши,
когда опять белесая зима
бредет в полях безмолвнее души.
О чем тогда я думаю один,
зачем гляжу ей пристально вослед.
На этот раз декабрь предвосхитил
ее февральских оттепелей свет.
Какие предстоят нам холода.
Но, обогреты давностями, мы
не помним, как нисходят города
на тягостные выдохи зимы.
Безумные и злобные поля!
Безумна и безмерна тишина их.
То не покой, то темная земля
об облике ином напоминает.
Какой-то ужас в этой белизне.
И вижу я, что жизнь идет как вызов
бесславию, упавшему извне
на эту неосознанную близость.
10 декабря 1960
Теперь все чаще чувствую усталость,

все реже говорю о ней теперь,
о, промыслов души моей кустарность,
веселая и теплая артель.
Каких ты птиц себе изобретаешь,
кому их даришь или продаешь,
и в современных гнездах обитаешь,
и современным голосом поешь.
Вернись, душа, и перышко мне вынь!
Пускай о славе радио споет нам.
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета.
Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.
Вот я иду, а где-то ты летишь,
уже не слыша сетований наших,
вот я живу, а где-то ты кричишь
и крыльями взволнованными машешь.
11 декабря 1960

ГЛАГОЛЫ

Меня окружают молчаливые глаголы,
похожие на чужие головы,
глаголы,
голодные глаголы, голые глаголы,
главные глаголы, глухие глаголы.
Глаголы без существительных. Глаголы — просто.
Глаголы,
которые живут в подвалах,
говорят — в подвалах, рождаются — в подвалах
под несколькими этажами
всеобщего оптимизма.
Каждое утро они идут на работу,
раствор мешают и камни таскают,
но, возводя город, возводят не город,
а собственному одиночеству памятник воздвигают.
И уходя, как уходят в чужую память,
мерно ступая от слова к слову,
всеми своими тремя временами
глаголы однажды восходят на Голгофу.
И небо над ними,
как птица над погостом,
и, словно стоя
перед запертой дверью,
некто стучит, забивая гвозди
в прошедшее,
в настоящее,
в будущее время.
Никто не придет, и никто не снимет.
Стук молотка

вечным ритмом станет.
Земля гипербол лежит под ними,
как небо метафор плывет над нами!
I960
Z.K.
Лети отсюда, белый мотылек.
Я жизнь тебе оставил. Это почесть
и знак того, что путь твой недалек.
Лети быстрей. О ветре позабочусь.
Еще я сам дохну тебе вослед.
Несись быстрей над голыми садами.
Вперед, родной. Последний мой совет:
будь осторожен там, над проводами.
Что ж, я тебе препоручил не весть,
а некую настойчивую грезу;
должно быть, ты одно из тех существ,
мелькавших на полях метемпсихоза.
Смотри ж, не попади под колесо
и птиц минуй движением обманным.
И нарисуй пред ней мое лицо
в пустом кафе. И в воздухе туманном.
I960
САД
О, как ты пуст и нем!
В осенней полумгле
сколь призрачно царит прозрачность сада,
где листья приближаются к земле
великим тяготением распада.
О, как ты нем!
Ужель твоя судьба
в моей судьбе угадывает вызов,
и гул плодов, покинувших тебя,
как гул колоколов, тебе не близок?
Великий сад!
Даруй моим словам
стволов круженье, истины круженье,
где я бреду к изогнутым ветвям
в паденье листьев, в сумрак возрожденья.
О, как дожить
до будущей весны
твоим стволам, душе моей печальной,
когда плоды твои унесены
и только пустота твоя реальна.
Нет, уезжать!
Пускай куда-нибудь
меня влекут громадные вагоны.
Мой дольний путь и твой высокий путь —
теперь они тождественно огромны.
Прощай, мой сад!
Надолго ль?.. Навсегда.

Храни в себе молчание рассвета,
великий сад, роняющий года
на горькую идиллию поэта.
I960

СТРЕЛЬНИНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Дворцов и замков свет, дворцов и замков,
цветник кирпичных роз, зимой расцветших,
какой родной пейзаж утрат внезапных,
какой прекрасный свист из лет прошедших.
Как будто чей-то след, давно знакомый,
ты видишь на снегу в стране сонливой,
как будто под тобой не брег искомый,
а прежняя земля любви крикливой.
Как будто я себя и всех забуду,
и ты уже ушла, простилась даже,
как будто ты ушла совсем отсюда,
как будто умерла вдали от пляжа.
Ты вдруг вошла навек в электропоезд,
увидела на миг закат и крыши,
а я еще стою в воде по пояс
и дальний гром колес прекрасный слышу.
Тебя здесь больше нет. Не будет боле.
Забвенья свет в страну тоски и боли.—
слетает вновь на золотую тризну,
прекрасный свет над незнакомой жизнью.
Все так же фонари во мгле белеют,
все тот же теплоход в заливе стынет,
кружится новый снег, и козы блеют,
как будто эта жизнь тебя не минет.
Тебя здесь больше нет, не будет боле,
пора и мне из этих мест в дорогу.
Забвенья нет. И нет тоски и боли,
тебя здесь больше нет — и слава Богу.
Пусть подведут коня — и ногу в стремя,
все та же предо мной златая Стрельна,
как будто вновь залив во мгле белеет,
и вьется новый снег, и козы блеют.
Как будто бы зимой в деревне царской
является мне тень любви напрасной,
и жизнь опять бежит во мгле январской
замерзшею волной на брег прекрасный.
I960

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Нет, мы не стали глуше или старше,
мы говорим слова свои, как прежде,
и наши пиджаки темны все так же,
и нас не любят женщины все те же.
И мы опять играем временами
в больших амфитеатрах одиночеств,
и те же фонари горят над нами,

как восклицательные знаки ночи.
Живем прошедшим, словно настоящим,
на будущее время не похожим,
опять не спим и забываем спящих,
и так же дело делаем все то же.
Храни, о юмор, юношей веселых
в сплошных круговоротах тьмы и света
великими для славы и позора
и добрыми — для суетности века.
I960

ПЕСЕНКА

По холмам поднебесья,
по дороге неблизкой,
возвращаясь без песни
из земли италийской,
над страной огородов,
над родными полями
пролетит зимородок
и помашет крылами.
И с высот Олимпийских,
недоступных для галки,
там, на склонах альпийских,
где желтеют фиалки, —
хоть глаза ее зорки
и простор не тревожит, —
видит птичка пригорки,
но понять их не может.
Между сосен на кручах
птица с криком кружится
и, замешкавшись в тучах,
вновь в отчизну стремится.
Помнят только вершины
да цветущие маки,
что на Монте-Кассино
это были поляки.
1960(7)

л.м.

Приходит время сожалений.
При полусвете фонарей,
при полумраке озарений
не узнавать учителей.
Так что-то движется меж нами,
живет, живет, отговорив,
и, побеждая временами,
зовет любовников своих.
И вся-то жизнь — биенье сердца,
и говор фраз, да плеск вины,
и ночь над лодочкою секса
по светлой речке тишины.
Простимся, позднее творенье

моих навязчивых щедрот,
побед унылое паренье
и утлой нежности полет.
О Господи, что движет миром,
пока мы слабо говорим,
что движет образом немилым
и дышит обликом моим.
Затем, чтоб с темного газона
от унизительных утрат
сметать межвременные зерна
на победительный асфальт.
О, все приходит понемногу
и говорит — живи, живи.
Кружи, кружи передо мною
безумным навыком любви.
Свети на горестный посев,
фонарь сегодняшней печали,
и пожимай во тьме плечами
и сокрушайся обо всех.
февраль — март 1961
Приходит март. Я сызнова служу.
В несчастливом кружении событий
изменчивую прелесть нахожу
в смешеньи незначительных наитий.
Воскресный свет все менее манит
бежать ежевечерних откровений,
покуда утомительно шумит
на улицах мой век полувоенный.
Воскресный свет. Все кажется не та,
не та толпа, и тягостны поклоны.
О, время, послужи, как пустота,
часам, идущим в доме Аполлона.
А мир живет, как старый однодум,
и снова что-то страшное бормочет,
покуда мы приравниваем ум
к пределам и деяниям на ощупь.
Как мало на земле я проживу,
все занятый невечными делами,
и полдни зимние столпятся над столами,
как будто я их сызнова зову.
Но что-нибудь останется во мне —
в живущем или мертвом человеке —
и вырвется из мира и извне
расстанется, свободное навеки.
Хвала развязке. Занавес. Конец.
Конец. Разъезд. Галантность провожатых,
у светлых лестниц к зеркалам прижатых,
и лавровый заснеженный венец.
март 1961
ТРИ ГЛАВЫ

Глава 1
Когда-нибудь, болтливый умник,
среди знакомств пройдет зима,
когда в Москве от узких улиц
сойду когда-нибудь с ума,
на шумной родине балтийской
среди худой полувесны
протарахтят полуботинки
по лестнице полувойны,
и дверь откроется. О память,
смотри, как улица пуста,
один асфальт под каблуками,
наклон Литейного моста.
И в этом ровном полусвете
смешенья равных непогод
не дай нам Бог кого-то встретить,
ужасен будет пешеход.*
И с криком сдавленным обратно
ты сразу бросишься, вослед
его шаги и крик в парадном,
дома стоят, парадных нет,
да город этот ли? Не этот,
здесь не поймают, не убьют,
сойдут с ума, сведут к поэту,
тепло, предательство, приют.
Глава 2
Полуапрель и полуслякоть,
любви, любви полупитья,
и одинокость, одинакость
над полуправдой бытия,
что ж, переменим, переедем,
переживем, полудыша,
о, никогда ни тем ни этим
не примиренная душа,
и все, что менее тоскливо,
напоминает желтый лед,
и небо Финского залива
на невский пригород плывет.
Уже не суетный, небрежный,
любовник брошенный, пижон,
забывший скуку побережий
и меру времени — сезон,
чего не станет с человеком,
грехи не все, дела не все,
шумит за дюнами и снегом,
шумит за дюнами шоссе,
какая разница и разность,
и вот — автобус голубой,
глядишь в окно, и безвозвратность
все тихо едет за тобой.

Глава 3
Ничто не стоит сожалений,
люби, люби, а все одно, —
знакомств, любви и поражений
нам переставить не дано.
И вот весна. Ступать обратно
сквозь черно-белые дворы,
где на железные ограды
ложатся легкие стволы
и жизнь проходит в переулках,
как обедневшая семья.
Летит на цинковые урны
и липнет снег небытия.
Войди в подъезд неосвещенный
и вытри слезы и опять
смотри, смотри, как возмущенный
Борей все гонит воды вспять.
Куда ж идти? Вот ряд оконный,
фонарь, парадное, уют,
любовь и смерть, слова знакомых,
и где-то здесь тебе приют.
апрель 1961
гость
(Поэма)
Глава 1
Друзья мои, ко мне на этот раз.
Вот улица с осенними дворцами,
но не асфальт, покрытая торцами,
друзья мои, вот улица для вас.
Здесь бедные любовники, легки,
под вечер в парикмахерских толпятся,
и сигареты белые дымятся,
и белые дрожат воротники.
Вот книжный магазин, но небогат
любовью, путешествием, стихами,
и на балконах звякают стаканы,
и занавеси тихо шелестят.
Я обращаюсь в слух, я обращаюсь в слух,
вот возгласы и платьев шум нарядный,
как эти звуки родины приятны
и коротко желание услуг.
Все жизнь не та, все, кажется, на сердце
лежит иной, несовременный груз,
и все волнует маленькую грудь
в малиновой рубашке фарисейства.
Зачем же так. Стихи мои — добрей.
Скорей от этой ругани подстрочной.
Вот фонари, под вывеской молочной
коричневые крылышки дверей.
Вот улица, вот улица, не редкость —

одним концом в коричневую мглу,
и рядом детство плачет на углу,
а мимо все проносится троллейбус.
Когда-нибудь, со временем, пойму,
что тоньше, поучительнее даже,
что проще и значительней пейзажа
не скажет время сердцу моему.
Но до сих пор обильностью врагов
меня портрет все более заботит.
И вот теперь по улице проходит
шагами быстрыми любовь.
Не мне спешить, не мне бежать вослед
и на дорогу сталкивать другого,
и жить не так. Но возглас ранних лет
опять летит. — Простите, ради Бога.
Постойте же. Вдали Литейный мост.
Вы сами видите — он крыльями разводит.
Постойте же. Ко мне приходит гость,
из будущего времени приходит.

Глава 2

Теперь покурим белых сигарет,
друзья мои, и пиджаки наденем,
и комнату на семь частей поделим,
и каждому достанется портрет.
Да, каждому портрет. Друзья, уместно ль
заметить вам, вы знаете, друзья,
приятеля теперь имею я...
Вот комната моя. Из переездов
всегда сюда. Родители, семья,
а дым отечественный запах не меняет.
...Приятель чем-то вас напоминает...
Друзья мои, вот комната моя.
Здесь родина. Здесь — будто без прикрас,
здесь — прошлым днем, и нынешним театром,
но завтрашний мой день не здесь. О, завтра,
друзья мои, вот комната для вас.
Вот комната любви, диван, балкон,
а вот мой стол — вот комната искусства.
А по торцам грузовики трясутся
вдоль вывесок и розовых погон
пехотного училища. Приятель
идет ко мне по улице моей.
Вот комната, не знавшая детей,
вот комната родительских кроватей.
А что о ней сказать? Не чувствую ее,
не чувствую, могу лишь перечислить.
Вы знаете... Ах нет... Здесь очень чисто,
все это мать, старания ее.
Вы знаете, ко мне... Ах, не о том,
о комнате с приятелем, с которым...

А вот отец, когда он был майором,
фотографом он сделался потом.
Друзья мои, вот улица и дверь
в мой красный дом, вот шорох листьев мелких
на площади, где дерево и церковь
для тех, кто верит Господу теперь.
Друзья мои, вы знаете, дела.
Друзья мои, вы ставите стаканы,
друзья мои, вы знаете — пора,
друзья мои с недолгими стихами.
Друзья мои, вы знаете, как странно...
Друзья мои, ваш путь обратно прост.
Друзья мои, вот гасятся рекламы.
Вы знаете, ко мне приходит гость.
Глава 3
По улице, по улице, свистя,
заглядывая в маленькие окна,
и уличные голуби летят
и клювами колотятся о стекла.
Как шепоты, как шелесты грехов,
как занавес, как штора, одинаков,
как посвист ножниц, музыка шагов,
и улица, как белая бумага.
То Гаммельн или снова Петербург,
чтоб адресом опять не ошибиться
и за углом почувствовать испуг,
но за углом висит самоубийца.
Ко мне приходит гость, ко мне приходит гость.
Гость лестницы единственной на свете,
гость совершенных дел и маленьких знакомств,
гость юности и злобного бессмертья.
Гость белой нищеты и белых сигарет.
Гость юмора и шуток непоместных.
Гость неотложных горестных карет,
вечерних и полуночных арестов.
Гость озера обид — сих маленьких морей.
Единый гость и цели и движенья.
Гость памяти моей, поэзии моей,
великий Гость побед и униженья.
Будь гостем, Гость. Я созову друзей
(пускай они возвеселятся тоже), —
веселых победительных гостей
и на Тебя до ужаса похожих.
Вот вам приятель — Гость. Вот вам приятель — ложь.
Все та же пара рук. Все та же пара глаз.
Не завсегдатай — Гость, но так на вас похож,
и только имя у него — Отказ.
Смотрите на него. Разводятся мосты,
ракеты, киноленты, переломы...
Любите же его. Он — менее чем стих,

но — более чем проповеди злобы.
Любите же его. Чем станет человек,
когда его столетие возвысит,
когда его возьмет двадцатый век —
век маленькой стрельбы и страшных мыслей?
Любите же его. Он напрягает мозг
и новым взглядом комнату обводит...
...Прощай, мой Гость. К тебе приходит Гость.
Приходит Гость. Гость Времени приходит.
май 1961
Ленинград

ПАМЯТИ Е. А. БАРАТЫНСКОГО

Поэты пушкинской поры,
ребята светские, страдальцы,
пока старательны пиры,
романы русские стандартны
летят, как лист календаря,
и как стаканы недопиты,
как жизни после декабря
так одинаково разбиты.
Шуми, шуми, Балтийский лед,
неси помещиков обратно.
Печален, Господи, их взлет,
паденье, кажется, печатно.
Ох, каламбур. Календари
все липнут к сердцу понемногу,
и смерть от родины вдали
приходит. Значит, слава Богу,
что ради выкрика в толпе
минувших лет, минувшей страсти
умолкла песня о себе
за треть столетия.
Но разве
о том заботились, любя,
о том пеклись вы, ненавидя?
О нет, вы помнили себя
и поздно поняли, что выйдет
на медальоне новых лет
на фоне общего портрета,
но звонких уст поныне нет
на фотографиях столетья.
И та свобода хороша,
и той стесненности вы рады!
Смотри, как видела душа
одни великие утраты.
Ну, вот и кончились года,
затем и прожитые вами,
чтоб наши чувства иногда
мы звали вашими словами.
Поэты пушкинской поры,

любимцы горестной столицы,
вот ваши светские дары,
ребята мертвые, счастливцы.
Вы уезжали за моря,
вы забывали про дуэли,
вы столько чувствовали зря,
что умирали, как умели.
19 июня 1961
Якутск

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

На Карловом мосту ты улыбнешься,
переезжая к жиии еженощно
вагончиками пражского трамвая,
добра не зная, зла не забывая.
На Карловом мосту ты снова сходишь
и говоришь себе, что снова хочешь
пойти туда, где город вечерами
тебе в затылок светит фонарями.
На Карловом мосту ты снова сходишь,
прохожим в лица пристально посмотришь,
который час кому-нибудь ответишь,
но больше на мосту себя не встретишь.
На Карловом мосту себя запомни:
тебя уносят утренние кони.
Скажи себе, что надо возвратиться,
скажи, что уезжаешь за границу.
Когда опять на родину вернешься,
плывет по Влтаве желтый пароходик.
На Карловом мосту ты улыбнешься
и крикнешь мне: печаль твоя проходит.
Я говорю, а ты меня не слышишь.
Не крикнешь, нет, и слова не напишешь,
ты мертвых глаз теперь не поднимаешь
и мой, живой, язык не понимаешь.
На Карловом мосту — другие лица.
Смотри, как жизнь, что без тебя продлится,
бормочет вновь, спешит за часом час...
Как смерть, что продолжается без нас.
29 июня 1961
Якутия

Уезжай, уезжай, уезжай,
так немного себе остается,
в теплой чашке смертей помешай
эту горечь и голод, и солнце.
Что с ней станет, с любовью к тебе,
ничего, все дольешь, не устанешь,
ничего не оставишь судьбе,
слишком хочется пить в Казахстане.
Так далеко, как хватит ума
не понять, так хотя бы запомнить,

уезжай за слова, за дома,
за великие спины знакомых.
В первый раз, в этот раз, в сотый раз
сожалея о будущем, реже
понимая, что каждый из нас
остается на свете все тем же
человеком, который привык,
поездами себя побеждая,
по земле разноситься, как крик,
навсегда в темноте пропадая.
29 июня 1961
ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАН
(Поэма в трех частях)
Часть I. Утро и вечер
Глава 1
Анатолию Найману
Забудь себя и ненадолго
кирпич облупленных казарм,
когда поедешь втихомолку
на Николаевский вокзал,
когда немногое отринешь,
скользя в машине вдоль реки,
смотри в блестящие витрины
на голубые пиджаки.
Но много сломанных иголок
на платье времени сгубя,
хотя бы собственных знакомых
любить, как самого себя.
Ну, вот и хлеб для аналогий,
пока в такси рюкзак и ты.
Храни вас Боже, Анатолий,
значок короткой суеты
воткните в узкую петлицу,
и посреди зеркальных рам
скользить к ногам, склоняться к лицам
и все любить по вечерам.
Глава 2
Разъезжей улицы развязность,
торцы, прилавки, кутерьма,
ее купеческая праздность,
ее доходные дома.
А все равно тебе приятно,
друзей стрельбы переживя,
на полстолетия обратно
сюда перевезти себя,
и головою поумневшей,
не замечающей меня,
склонись до смерти перед спешкой
и злобой нынешнего дня.
Скорее с Лиговки на Невский,

где магазины через дверь,
где так легко с Комиссаржевской
ты разминулся бы теперь.
Всего страшней для человека
стоять с поникшей головой
и ждать автобуса и века
на опустевшей мостовой.
Глава 3
(письмо)
Как вдоль коричневой казармы,
в решетку темную гляжу,
когда на узкие каналы
из тех парадных выхожу,
как все равны тебе делами,
чугун ограды не нужней,
но все понятней вечерами
и все страшней, и все страшней.
Любимый мой, куда я денусь,
но говорю — живи, живи,
живи все так и нашу бедность
стирай с земли, как пот любви.
Пойми, пойми, что все мешает,
что век кричит и нет мне сил,
когда столетье разобщает,
хотя б все менее просил.
Храни тебя, любимый, Боже,
вернись когда-нибудь домой,
жалей себя все больше, больше,
любимый мой, любимый мой.
Глава 4
Я уезжаю, уезжаю,
опять мы дурно говорим,
опять упасть себе мешаю
пред чешским именем твоим,
благословляй громадный поезд,
великих тамбуров окно,
в котором, вылезши по пояс,
кричит буфетное вино,
о, чьи улыбки на колени
встают в нагревшихся купе,
и горький грохот удаленья
опять мерещится судьбе.
Людмила, Боже мой, как странно,
что вечной полевой порой,
из петербургского романа
уже несчастливый герой,
любовник брошенный, небрежный,
но прежний, Господи, на вид,
я плачу где-то на Разъезжей,
а рядом Лиговка шумит.

Глава 5
Моста Литейного склоненность,
ремонт троллейбусных путей,
круженье набережных сонных,
как склонность набожных людей
твердить одну и ту же фразу,
таков ли шум ночной Невы,
гонимой льдинами на Пасху
меж Малоохтенской травы,
когда, склонясь через ограду,
глядит в нее худой апрель,
блестит вода, и вечно рядом
плывет мертвец Мазереель,
и, как всегда в двадцатом веке,
звучит далекая стрельба,
и где-то ловит человека
его безумная судьба,
там, за рекой среди деревьев,
все плещет память о гранит,
шумит Нева и льдины вертит
и тяжко души леденит.
Глава 6
кв.
Прощай, Васильевский опрятный,
огни полночные туши,
гони троллейбусы обратно
и новых юношей страши,
дохнув в уверенную юность
водой, обилием больниц,
безумной правильностью улиц,
безумной каменностью лиц.
Прощай, не стоит возвращаться,
найдя в замужестве одно —
навек на острове остаться
среди заводов и кино.
И гости машут пиджаками
далеко за полночь в дверях,
легко мы стали чужаками,
друзей меж линий растеряв.
Мосты за мною поднимая,
в толпе фаллических столбов
прощай, любовь моя немая,
моя знакомая — любовь.
Глава 7
Меж Пестеля и Маяковской
стоит шестиэтажный дом.
Когда-то юный Мережковский
и Гиппиус прожили в нем
два года этого столетья.
Теперь на третьем этаже

живет герой, и время вертит
свой циферблат в его душе.
Когда в Москве в петлицу воткнут
и в площадей неловкий толк
на полстолетия изогнут
Лубянки каменный цветок,
а Петербург средины века,
адмиралтейскому кусту
послав привет, с Дзержинской съехал
почти к Литейному мосту,
и по Гороховой троллейбус-
не привезет уже к судьбе.
Литейный, бежевая крепость,
подъезд четвертый кгб.
Главы 8—9
Окно вдоль неба в переплетах,
между шагами тишина,
железной сеткою пролетов
ступень бетонная сильна.
Меж ваших тайн, меж узких дырок
на ваших лицах, господа,
(from time to time, my sweet, my dear,
I left your heaven), иногда
как будто крылышки Дедала
всё машут ваши голоса,
по временам я покидала,
мой милый, ваши небеса,
уже российская пристрастность
на ваши трудные дела —
хвала тебе, госбезопасность,
людскому разуму хула.
По этим лестницам меж комнат,
свое столетие терпя,
о только помнить, только помнить
не эти комнаты — себя.
Но там неловкая природа,
твои великие корма,
твои дома, как терема,
и в слугах ходит полнарода.
Не то страшит меня, что в полночь,
героя в полночь увезут,
что миром правит сволочь, сволочь.
Но сходит жизнь в неправый суд,
в тоску, в смятение, в ракеты,
в починку маленьких пружин
и оставляет человека
на новой улице чужим.
Нельзя мне более. В романе
не я, а город мой герой,
так человек в зеркальной раме

стоит вечернею порой
и оправляет ворот смятый,
скользит ладонью вдоль седин
и едет в маленький театр,
где будет сызнова один.
Не так приятны перемены,
как наши хлопоты при них,
знакомых круглые колени
и возникающий на миг
короткий запах злого смысла
твоих обыденных забот,
и стрелки крутятся не быстро,
и время делает аборт
любовям к ближнему, Любовям
к самим себе, твердя: терпи,
кричи теперь, покуда больно,
потом кого-нибудь люби.
Да. Перемены все же мука,
но вся награда за труды,
когда под сердцем Петербурга
такие вырастут плоды,
как наши собранные жизни,
и в этом брошенном дому
все угасающие мысли
к себе все ближе самому.

Часть II. Времена года

Глава 11

Хлопки сентябрьских парадных,
свеченье мокрых фонарей.
Смотри: осенние утраты
даров осенних тяжелей.
И льется свет по переулкам,
и палец родственной души
все пишет в воздухе фигуры,
полуодевшие плащи,
висит над скомканным газоном
в обрывках утренних газет
вся жизнь, не более сезона,
и дождь шумит тебе в ответ:
не стоит сна, не стоит скуки,
по капле света и тепла
лови, лови в пустые руки
и в сутки совершай дела,
из незнакомой подворотни,
прижавшись к цинковой трубе,
смотри на мокрое барокко
и снова думай о себе.

Глава 12

На всем, на всем лежит поспешность,
на тарахтящих башмаках,

на недоверчивых усмешках,
на полуискренних стихах.
Увы, на искренних. В разрывах
все чаще кажутся милы
любви и злости торопливой
непоправимые дары.
Так все хвала тебе, поспешность,
суди, не спрашивай, губи,
когда почувствуешь уместность
самоуверенной любви,
самоуверенной печали,
улыбок, брошенных вослед, —
несвоевременной печати
неоткровенных наших лет,
но раз в году умолкший голос
негромко выкрикнет — пиши,
по временам сквозь горький холод,
живя по-прежнему, спеши.
Уходишь осенью обратно,
шумит река вослед, вослед,
мерцанье желтое парадных
и в них шаги минувших лет.
Наверх по лестнице непрочной,
звонок и после тишина,
войди в квартиру, этой ночью
увидишь реку из окна.
Поймешь, быть может, на мгновенье,
густую штору теребя,
во тьме великое стремленье
нести куда-нибудь себя,
где двести лет, не уставая,
все плачет хор океанид,
за все мосты над островами,
за их Васильевский гранит,
и перед этою стеною
себя на крике оборви
и повернись к окну спиною,
и ненадолго оживи.

Глава 14

О, Петербург, средины века
все будто минули давно,
но, озаряя посвист ветра,
о, Петербург, мое окно
горит уже четыре ночи,
четыре года говорит,
письмом четырнадцатой почты
в главе тринадцатой горит.
О, Петербург, твои карманы
и белизна твоих манжет,
романы в письмах не романы,

но только в подписи сюжет,
но только уровень погоста
с рекой на Волковом горбе,
но только зимние знакомства
дороже вчетверо тебе,
на обедневшее семейство
взирая, светят до утра
прожектора Адмиралтейства
и императора Петра.
Глава 15
Зима качает светофоры
пустыми крылышками вьюг,
с Преображенского собора
сдувая колокольный звук.
И торопливые фигурки
бормочут — Господи, прости,
и в занесенном переулке
стоит блестящее такси,
но в том же самом переулке
среди сугробов и морен
легко зимою в Петербурге
прожить себе без перемен,
пока рисует подоконник
на желтых краешках газет
непопулярный треугольник
любви, обыденности, бед,
и лишь Нева неугомонно
к заливу гонит облака,
дворцы, прохожих и колонны
и горький вымысел стиха.
Глава 16
По сопкам сызнова, по сопкам,
и радиометр трещит,
и поднимает невысоко
нас на себе Алданский щит.
На нем и с ним. Мои резоны,
как ваши рифмы, на виду,
таков наш хлеб: ходьба сезона,
четыре месяца в году.
По сопкам сызнова, по склонам,
тайга, кружащая вокруг,
не зеленей твоих вагонов,
экспресс Хабаровск—Петербург.
Вот характерный строй метафор
людей, бредущих по тайге,
о, база, лагерь или табор,
и ходит смерть невдалеке.
Алеко, господи, Алеко,
ты только выберись живым.
Алдан, двадцатое столетье,

хвала сезонам полевым.
Глава 17
Прости волнение и горечь
в моих словах, прости меня,
я не участник ваших сборищ,
и, как всегда, день ото дня
я буду чувствовать иное
волненье, горечь, но не ту.
Овладевающее мною
зимой в Таврическом саду
пинает снег и видит — листья,
четыре времени в году,
четыре времени для жизни,
а только гибнешь на лету
в каком-то пятом измереньи,
растает снег, не долетев,
в каком-то странном изумленьи
поля умолкнут, опустев,
утихнут уличные звуки,
настанет Пауза, а я
твержу на лестнице от скуки:
прости меня, любовь моя.
Глава 18
Трещала печь, героя пальцы
опять лежали на окне,
обои «Северные Альпы»,
портрет прабабки на стене,
в трельяж и в зеркало второе
всмотритесь пристальней, и вы
увидите портрет героя
на фоне мчащейся Невы,
внимать желаниям нетвердым
и все быстрей, и все быстрей
себе наматывать на горло
все ожерелье фонарей,
о, в этой комнате наскучит, —
герой угрюмо повторял,
и за стеной худую участь,
бренча, утраивал рояль,
да, в этой комнате усталой
из-за дверей лови, лови
все эти юные удары
по нелюбви, по нелюбви.
Глава 19
Апрель, апрель, беги и кашляй,
роняй себя из теплых рук,
над Петропавловскою башней
смыкает время узкий круг,
нет, нет. Останется хоть что-то,
хотя бы ты, апрельский свет,

хотя бы ты, моя работа.
Ни пяди нет, ни пяди нет,
ни пяди нет и нету цели,
движенье вбок, чего скрывать,
и так оно на самом деле,
и как звучит оно — плевать.
Один — Таврическим ли садом,
один — по Пестеля домой,
один — башкой, руками, задом,
ногами. Стенка. Боже мой.
Такси, собор. Не понимаю.
Дом офицеров, майский бал.
Отпой себя в начале мая,
куда я, Господи, попал.
Глава 20
Так остановишься в испуге
на незеленых островах,
так остаешься в Петербурге
на государственных правах,
нет, на словах, словах романа,
а не ногами на траве
и на асфальте — из кармана
достанешь жизнь в любой главе.
И, может быть, живут герои,
идут по улицам твоим,
и облака над головою
плывя им говорят: Творим
одной рукою человека,
хотя бы так, в карандаше,
хотя б на день, как на три века,
великий мир в его душе.
Часть III. Свет
Глава 21
(Романс)
Весна, весна, приходят люди
к пустой реке, шумит гранит,
течет река, кого ты судишь,
скажи, кто прав, река твердит,
гудит буксир за Летним садом,
скрипит асфальт, шумит трава,
каналов блеск и плеск канавок,
и все одна, одна строфа:
течет Нева к пустому лету,
кружа мосты с тоски, с тоски,
пройдешь и ты, и без ответа
оставишь ты вопрос реки,
каналов плеск и треск канатов,
и жизнь моя полна, полна,
пустых домов, мостов горбатых,
разжатых рек волна темна,

разжатых рек, квартир и поля,
такси скользят, глаза скользят,
разжатых рук любви и горя,
разжатых рук, путей назад.
Глава 22
Отъезд. Вот памятник неровный
любови, памятник себе,
вокзал, я брошенный любовник,
я твой с колесами в судьбе.
Скажи, куда я выезжаю
из этих плачущихся лет,
мелькнет в окне страна чужая,
махнет деревьями вослед.
Река, и памятник, и крепость —
все видишь сызнова во сне,
и по Морской летит троллейбус
с любовью в запертом окне.
И нет на родину возврата,
одни страдания верны,
за петербургские ограды
обиды как-нибудь верни.
Ты все раздашь на зимних скамьях
по незнакомым городам
и скормишь собранные камни
летейским жадным воробьям.
Глава 23
К намокшим вывескам свисая,
листва легка, листва легка,
над Мойкой серые фасады
клубятся, словно облака,
твой день бежит меж вечных хлопот,
асфальта шорох деловой,
свистя под нос, под шум и грохот,
съезжает осень с Моховой,
взгляни ей вслед и, если хочешь,
скажи себе — печаль бедна,
о, как ты искренне уходишь,
оставив только имена
судьбе, судьбе или картине,
но меж тобой, бредущей вслед,
и между пальцами моими
все больше воздуха и лет,
продли шаги, продли страданья,
пока кружится голова
и обрываются желанья
в душе, как новая листва.
Смеркалось, ветер, утихая,
спешил к Литейному мосту,
из переулков увлекая
окурки, пыльную листву.

Вдали по площади покатой
съезжали два грузовика,
с последним отсветом заката
сбивались в кучу облака.
Гремел трамвай по Миллионной,
и за версту его слыхал
минувший день в густых колоннах,
легко вздыхая, утихал.
Смеркалось. В комнате героя
трещала печь и свет серел,
безмолвно в зеркало сырое
герой все пристальней смотрел.
Проходит жизнь моя, он думал,
темнеет свет, сереет свет,
находишь боль, находишь юмор,
каким ты стал за столько лет.
Глава 25
Сползает свет по длинным стеклам,
с намокших стен к ногам скользя,
о, чьи глаза в тебя так смотрят,
наверно, зеркала глаза.
Он думал — облики случайней
догадок жутких вечеров,
проходит жизнь моя, печальней
не скажешь слов, не скажешь слов.
Теперь ты чувствуешь, как странно
понять, что суть в твоей судьбе
и суть несвязного романа
проходит жизнь сказать тебе.
И ночь сдвигает коридоры
и громко говорит — не верь,
в пустую комнату героя
толчком распахивая дверь.
И возникает на пороге
пришелец, памятник, венец
в конце любви, в конце дороги,
немого времени гонец.
Глава 26
И вновь знакомый переулок
белел обрывками газет,
торцы заученных прогулок,
толкуй о родине, сосед,
толкуй о чем-нибудь недавнем,
любимом в нынешние дни,
тверди о чем-нибудь недальнем,
о смерти издали шепни,
заметь, заметь — одно и то же
мы говорим так много лет,
бежит полуночный прохожий,
спешит за временем вослед,

горит окно, а ты все плачешь
и жмешься к черному стеклу,
кого ты судишь, что ты платишь,
река все плещет на углу.
Пред ним торцы, вода и бревна,
фасадов трещины пред ним,
он ускоряет шаг неровный,
ничем как будто не гоним.
Гоним. Пролетами Пассажа,
свистками, криками ворон,
густыми взмахами фасадов,
толпой фаллических колонн.
Гоним. Ты движешься в испуге
к Неве. Я снова говорю:
я снова вижу в Петербурге
фигуру вечную твою.
Гоним столетьями гонений,
от смерти всюду в двух шагах,
теперь здороваюсь, Евгений,
с тобой на этих берегах.
Река и улица вдохнули
любовь в потертые дома,
в тома дневной литературы
догадок вечного ума.
Гоним, но все-таки не изгнан,
один — сквозь тарахтящий век
вдоль водостоков и карнизов
живой и мертвый человек.

Глава 28

Зимою холоден Елагин.
Полотна узких облаков
висят, как согнутые флаги,
в подковах цинковых мостков,
и мертвым лыжником с обрыва
скользит непрожитая жизнь,
и белый конь бежит к заливу,
вминая снег, кто дышит вниз,
чьи пальцы согнуты в кармане,
тепло, спасибо и за то,
да кто же он, герой романа
в холодном драповом пальто,
он смотрит вниз, какой-то праздник
в его уме жужжит, жужжит,
не мертвый лыжник — мертвый всадник
у ног его теперь лежит.
Он ни при чем, здесь всадник мертвый,
коня белеющего бег
и облака. К подковам мерзлым
все липнет снег, все липнет снег.

Глава 29

Канал туманный Грибоедов,
сквозь двести лет шуршит вода,
немного в мире переехав,
приходишь сызнова сюда.
Со всем когда-нибудь сживешься
в кругу обидчивых харит,
к ограде счастливо прижмешься,
и вечер воду озарит.
Канал ботинок твой окатит
и где-то около Невы
плеснет водой зеленоватой, —
мой Бог, неужто это вы.
А это ты. В канале старом
ты столько лет плывешь уже,
канатов треск и плеск каналов
и улиц свет в твоей душе.
И боль в душе. Вот два столетья.
И улиц свет. И боль в груди.
И ты живешь один на свете,
и только город впереди.
Смотри, смотри, приходит полдень,
чей свет теплей, чей свет серей
всего, что ты опять не понял
на шумной родине своей.
Глава последняя, ты встанешь,
в последний раз в своем лице
сменив усталость, жизнь поставишь,
как будто рифму, на конце.
А век в лицо тебе смеется
и вдаль бежит сквозь треск идей.
Смотри, одно и остается —
цепляться снова за людей,
за их любовь, за свет и низость,
за свет и боль, за долгий крик,
пока из мертвых лет, как вызов,
летят слова — за них, за них.
Я прохожу сквозь вечный город,
дома твердят: река, держись,
шумит листва, в громадном хоре
я говорю тебе: все жизнь.
первая половина 1961
Ленинград

ИЮЛЬСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

1. В письме на Юг

Г. И. Гинзбургу-Воскову

Ты уехал на Юг, а здесь настали теплые дни,
нагревается мост, ровно плещет вода, пыль витает,
я теперь прохожу в переулке, всё в тени, всё в тени,
всё в тени,
и вблизи надо мной твой пустой самолет пролетает.

Господи, я говорю, помоги, помоги ему,
я дурной человек, но ты помоги, я пойду,
я пойду прощусь,
Господи, я боюсь за него, нужно помочь,
я ладонь подниму,
самолет летит, Господи, помоги, я боюсь.
Так боюсь за себя. Настали теплые дни, так тепло,
пригородные пляжи, желтые паруса посреди залива,
теплый лязг трамваев, воздух в листьях, на
той стороне светло,
я прохожу в тени, вижу воду, почти счастливый.
Из распахнутых окон телефоны звенят,
и квартиры шумят, и деревья листвой полны,
солнце светит вдали, солнце светит в горах — над ним,
в этом городе вновь настали теплые дни,
помоги мне не быть, помоги мне не быть здесь одним.
Пробегай, пробегай, ты любовник, и здесь тебя ждут,
вдоль решеток канала пробегай, задевая рукой гранит,
ровно плещет вода, на балконах кусты цветут,
вот горячей листвой над каналом каштан шумит.
С каждым днем за спиной всё плотней
закрываются окна оставленных лет,
кто-то смотрит вослед — за стеклом, все глядит холодней,
впереди, кроме улиц твоих, никого, ничего уже нет,
как поверить, что ты проживешь еще столько же дней.
Потому-то все чаще, все чаще ты смотришь назад,
значит, жизнь — только утренний свет, только
сердца уверенный стук,
только горы стоят, только горы стоят
в твоих белых глазах,
это страшно узнать — никогда не вернешься на Юг.
Прощайте, горы. Что я прожил, что помню,
что знаю на час,
никогда не узнаю, но если приходит,
приходит пора уходить,
никогда не забуду, и вы не забудьте, что
сверху я видел вас,
а теперь здесь другой, я уже не вернусь,
постарайтесь простить.
Горы, горы мои. Навсегда белый свет,
белый снег, белый свет
до последнего часа в душе, в хоре мертвых имен,
вечно белых вершин над долинами минувших лет,
словно тысячи рек на свиданьи у вечных времен.
Словно тысячи рек умолкают на миг,
умолкают на миг, на мгновение вдруг,
я запомню себя, там, в горах, посреди ослепительных стен,
там, внизу, человек, это я говорю в моих письмах на Юг:
добрый день, моя смерть, добрый день,
добрый день, добрый день.

июнь 1961
э. т.
Люби проездом родину друзей.
На станциях батоны покупая,
о прожитом бездумно пожалей,
к вагонному окошку прилипая.
Все тот же вальс в провинции звучит,
летит, летит в белесые колонны,
весна друзей по-прежнему молчит,
блондинкам улыбаясь благосклонно.
Отходят поезда от городов,
приходит моментальное забвенье,
десятилетья искренних трудов,
но вечного, увы, неоткровенья.
Да что там жизнь! Под перестук колес
взбредет на ум печальная догадка,
что новый недоверчивый вопрос
когда-нибудь их вызовет обратно.
Так, поезжай. Куда? Куда-нибудь,
скажи себе: с несчастьями дружу я.
Гляди в окно и о себе забудь.
Жалей проездом родину чужую.
4
Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь.
Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя, одна твоя вина.
И хорошо. Спасибо. Слава Богу.
Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.
Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.
Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.
5. Пьеса с двумя паузами
для сакс-баритона
Металлический зов в полночь
слетает с Петропавловского собора,
из распахнутых окон в переулках
мелодически звякают деревянные часы комнат,
в радиоприемниках звучат гимны.

Все стихает.
Ровный шепот девушек в подворотнях
стихает,
и любовники в июле спокойны.
Изредка проезжает машина.
Ты стоишь на мосту и слышишь,
как стихает, и меркнет, и гаснет
целый город.
Ночь приносит
из теплого темно-синего мрака
желтые квадратики окон
и мерцанье канала.
Играй, играй, Диззи Гиллеспи,
Джерри Маллиган и Ширинг, Ширинг,
в белых платьях, все вы там в белых платьях
и в белых рубахах
на сорок второй и семьдесят второй улице,
там, за темным океаном, среди деревьев,
над которыми с зажженными бортовыми огнями
летят самолеты,
за океаном.
Хороший стиль, хороший стиль
в этот вечер,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
что там вытворяет Джерри,
баритон и скука и так одиноко,
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
звук выписывает эллипсоид так далеко за океаном,
и если теперь черный Гарнер
колотит руками по черно-белому ряду,
все становится понятным.
Эррол!
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
какой ударник у старого Монка
и так далеко,
за океаном,
Боже мой, Боже мой, Боже мой,
это какая-то охота за любовью,
все расхватано, но идет охота,
Боже мой, Боже мой,
это какая-то погоня за нами, погоня за нами,
Боже мой,
кто это болтает со смертью, выходя на улицу,
сегодня утром.
Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой,
ты бежишь по улице, так пустынно, никакого шума,
только в подворотнях, в подъездах, на перекрестках,
в парадных,
в подворотнях говорят друг с другом,
и на запертых фасадах прочитанные газеты оскаливают

заголовки.
Все любовники в июле так спокойны,
спокойны, спокойны.
6. Романс
Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
недалеко, за цинковой рекой,
ах, улыбнись в оставленных домах,
я различу на улицах твой взмах.
Недалеко, за цинковой рекой,
где стекла дребезжат наперебой
и в полдень нагреваются мосты,
тебе уже не покупать цветы.
Ах, улыбнись в оставленных домах,
где ты живешь средь вороха бумаг
и запаха увянувших цветов,
мне не. найти оставленных следов.
Я различу на улицах твой взмах,
как хорошо в оставленных домах
любить других и находить других,
из комнат, бесконечно дорогих,
любовью умолкающей дыша,
навек уйти, куда-нибудь спеша.
Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
когда на миг все люди замолчат,
недалеко за цинковой рекой
твои шаги на целый мир звучат.
Останься на нагревшемся мосту,
роняй цветы в ночную пустоту,
когда река, блестя из темноты,
всю ночь несет в Голландию цветы.
7. Современная песня
Человек приходит к развалинам снова и снова,
он был здесь позавчера и вчера
и появится завтра,
его привлекают развалины.
Он говорит:
Постепенно,
постепенно научишься многим вещам, очень многим,
научишься выбирать из груды битого щебня
свои будильники и обгоревшие корешки альбомов,
привыкнешь
приходить сюда ежедневно,
привыкнешь, что развалины существуют,
с этой мыслью сживешься.
Начинает порою казаться — так и надо,
начинает порою казаться, что всему научился,
и теперь ты легко говоришь
на улице с незнакомым ребенком
и все объясняешь. Так и надо.
Человек приходит к развалинам снова,

всякий раз, когда снова он хочет любить,
когда снова заводит будильник.
Нам, людям нормальным, и в голову не приходит, как это
можно вернуться домой и найти вместо дома — развалины.
Нет, мы не знаем, как это можно потерять и ноги, и руки
под поездом или трамваем — все это доходит до нас — слава
Богу — в виде горестных слухов, между тем это и есть необ-
ходимый процент несчастий, это — роза несчастий.
Человек приходит к развалинам снова,
долго тычется палкой среди мокрых обоев и щебня,
нагибается, поднимает и смотрит.
Кто-то строит дома,
кто-то вечно их разрушает, кто-то снова их строит,
изобилие городов наполняет нас всех оптимизмом.
Человек на развалинах поднял и смотрит,
эти люди обычно не плачут.
Даже сидя в гостях у — слава Богу — целых знакомых,
неодобрительно смотрят на столбики фотоальбомов.
«В наши дни, — так они говорят, — не стоит
заводить фотографий».
Можно много построить и столько же можно разрушить
и снова построить.
Ничего нет страшней, чем развалины в сердце,
ничего нет страшнее развалин,
на которые падает дождь и мимо которых
проносятся новые автомобили,
по которым, как призраки, бродят
люди с разбитым сердцем и дети в беретах,
ничего нет страшнее развалин,
которые перестают казаться метафорой
и становятся тем, чем они были когда-то:
домами.

8. Июльское интермеццо

Девушки, которых мы обнимали,
с которыми мы спали,
приятели, с которыми мы пили,
родственники, которые нас кормили и все покупали,
братья и сестры, которых мы так любили,
знакомые, случайные соседи этажом выше,
наши однокашники, наши учителя, — да, все вместе, —
почему я их больше не вижу,
куда они все исчезли.
Приближается осень, какая по счету,
приближается осень,
новая осень незнакомо шумит в листьях,
вот опять предо мной проезжают, проходят ночью,
в белом свете дня красные, неизвестные мне лица.
Неужели все они мертвы, неужели это правда,
каждый, кто любил меня, обнимал, так смеялся,
неужели я не услышу издали крик брата,

неужели они ушли,
а я остался.
Здесь, один, между старых и новых улиц,
прохожу один, никого не встречаю больше,
мне нельзя входить, чистеньких лестниц узость
и чужие квартиры звонят над моей болью.
Ну, звени, звени, новая жизнь, над моим плачем,
к новым, каким по счету, Любовям, привыкать к потерям,
к незнакомым лицам, к чужому шуму и к новым платьям,
ну, звени, звени, закрывай предо мной двери.
Ну, шуми надо мной своим новым широким флагом,
тарахти подо мной, отражай мою тень
своим камнем твердым,
светлым камнем своим маячь из мрака,
оставляя меня, оставляя меня
моим мертвым.

9. Августовские любовники

Августовские любовники,
августовские любовники проходят с цветами,
невидимые зовы парадных их влекут,
августовские любовники в красных рубашках
с полуоткрытыми ртами
мелькают на перекрестках, исчезают в переулках,
по площадям бегут.
Августовские любовники
в вечернем воздухе чертят
красно-белые линии рубашек, своих цветов,
распахнутые окна между черных парадных светят,
и они всё идут, всё бегут на какой-то зов.
Вот и вечер жизни, вот и вечер идет сквозь город,
вот он красит деревья, зажигает лампу, лакирует авто,
в узеньких переулках торопливо звонят соборы,
возвращайся назад, выходи на балкон, накинь пальто.
Видишь, августовские любовники пробегают
внизу с цветами,
голубые струи реклам бесконечно стекают с крыш,
вот ты смотришь вниз, никогда не меняйся местами,
никогда ни с кем, это ты себе говоришь.
Вот цветы и цветы, и квартиры с новой любовью,
с юной плотью входящей, всходящей на новый круг,
отдавая себя с новым криком и новой кровью,
отдавая себя, выпуская цветы из рук.
Новый вечер шумит, никто не вернется,
над новой жизнью,
что никто не пройдет под балконом твоим к тебе
и не станет к тебе, и не станет, не станет ближе,
чем к самим себе, чем к своим цветам, чем к самим себе.

10. Проплывают облака

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса,

в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно,
в сумеречном воздухе исчезающие небеса?
Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев
и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.
Слышишь ли ты голоса, видишь ли волосы
с красными гребнями,
маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?
«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...» —
это дети поют и поют, черные ветви шумят,
голоса взлетают между листьев, между стволов неясных,
в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.
Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,
улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.
«Проплывают облака...» — это дети поют ночью, ночью,
от травы до вершин всё — биение, всё — дрожание голосов.
Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит,
привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,
среди черных ветвей облака с голосами, с любовью...
«Проплывают облака...» — это дети поют обо всем.
Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
блестящие нити дождя переплетаются, звенящие голоса,
возле узких вершин, в новых сумерках, на мгновение
видишь сызнова, видишь сызнова угасающие небеса?
Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей,
где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль осенних
оград,
все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх, быть ребенком
ночью,
и смотреть все вверх, только плакать и петь, и не знать утрат.
Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль деревьев
неясных,
в новых сумерках пенье, только плакать и петь, только листья
сложить.
Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,
только плакать и петь, только плакать и петь, только жить.
1961

ШЕСТВИЕ

Поэма-мистерия
в двух частях-актах и в 42-х главах-сценах

Идея поэмы — идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она — гимн баналу.

Цель достигается путем вкладывания более или менее приблизительных формулировок этих представлений в уста двадцати не так более, как менее условных персонажей.

Формулировки облечены в форму романсов. Романс — здесь понятие условное, по существу — монолог. Романсы рассчитаны на произнесение — и на произнесение с максимальной экспрессией: в этом, а также в некоторых длиннотах сказывается мистерийный характер поэмы. Романсы, кроме того, должны произноситься высокими голосами: нижний

предел — нежелательный — баритон, верхний — идеальный — альт. Прочие наставления — у Шекспира в «Гамлете», в 3 акте.

Часть I

Пора давно за все благодарить,
за все, что невозможно подарить
когда-нибудь кому-нибудь из вас
и улыбнуться, словно в первый раз
в твоих дверях, ушедшая любовь,
но невозможно улыбнуться вновь.
Прощай, прощай — шепчу я на ходу,
среди знакомых улиц вновь иду,
подрагивают стекла надо мной,
растет вдали привычный гул дневной,
а в подворотнях гасятся огни.
— Прощай, любовь, когда-нибудь звони.
Так оглянись когда-нибудь назад:
стоят дома в прищуренных глазах,
и мимо них уже который год
по тротуарам шествие идет.
Вот Арлекин толкает свой возок,
и каплет пот на уличный песок,
и Коломбина машет из возка.
А вот Скрипач, в руках его тоска
и несколько монет. Таков Скрипач.
А рядом с ним вышагивает Плач,
плач комнаты и улицы в пальто,
блестящих проносящихся авто,
плач всех людей. А рядом с ним Поэт,
давно не брит и кое-как одет
и голоден, его колотит дрожь.
А меж домами льется серый дождь,
свисают с подоконников цветы,
а там, внизу, вышагиваешь ты.
Вот шествие по улице идет,
и кое-кто вполголоса поет,
а кое-кто поглядывает вверх,
а кое-кто поругивает век,
как, например, Усталый Человек.
И шум дождя и вспышки сигарет,
шаги и шорох утренних газет,
и шелест непроглаженных штанин
(не плохо ведь в рейтузах, Арлекин),
и звяканье оставшихся монет,
и тени их идут за ними вслед.
Любите тех, кто прожил жизнь впотьмах
и не оставил по себе бумаг
и памяти какой уж ни на есть,
не помышлял о перемене мест,
кто прожил жизнь, однако же не став

ни жертвой, ни участником забав,
в процессию по случаю попав.
Таков герой. В поэме он молчит,
не говорит, не шепчет, не кричит,
прислушиваясь к возгласам других,
не совершает действий никаких.
Я попытаюсь вас увлечь игрой:
никем не замечаемый порой,
запомните — присутствует герой.
Вот шествие по улице идет.
Вот ковыляет Мышкин-идиот,
в накидке над панелью наклонясь.
— Как поживаете теперь, любезный князь,
уже сентябрь, и новая зима
еще не одного сведет с ума,
ах милый, успокойтесь наконец. —
Вот позади вышагивает Лжец,
посажена изящно голова,
лежат во рту великие слова,
а рядом с ним, закончивший поход,
неустрашимый рыцарь Дон Кихот
беседует с торговцем о сукне
и о судьбе. Ах, по моей вине
вам предстает ужасная толпа,
рябит в глазах, затея так глупа,
но все не зря. Вот книжка на столе,
весь разговорчик о добре и зле
свести к себе не самый тяжкий труд,
наверняка тебя не заберут.
Поставь на стол в стакан букетик зла,
найди в толпе фигуру Короля,
забытых королей на свете тьма,
сейчас сентябрь, потом придет зима.
Процессия по улице идет,
и дождь среди домов угрюмо льет.
Вот человек, Бог знает чем согрет,
вот человек — за пару сигарет
он всем раскроет честности секрет,
кто хочет, тот послушает рассказ,
Честняга — так зовут его у нас.
Представить вам осмеливаюсь я
принц-Гамлета, любезные друзья,
у нас компания — всё принцы да князья.
Осмелюсь полагать, за триста лет,
принц-Гамлет, вы придумали ответ,
и вы его изложите. Идет.
Процессия по улице бредет,
и кажется, что дождь уже ослаб,
маячит пестрота одежд и шляп,
принц-Гамлет в землю устремляет взор,

Честняге на ухо бормочет Вор,
но гонит Вора Честности пример
(простите — Вор, представить не успел).
Вот шествие по улице идет,
и дождь уже совсем перестает,
не может же он литься целый век,
заметьте — вот Счастливый Человек
с обычною улыбкой на устах.
— Чему вы улыбнулись? — Просто так.
Любовники идут из-за угла,
белеют обнаженные тела,
в холодной тьме навеки обнялись,
и губы побледневшие слились.
Все та же ночь у них в глазах пустых,
навеки обнялись, навек застыв,
в холодной мгле белеют их тела,
прошла ли жизнь или любовь прошла,
стекает вниз вода и белый свет
с любовников, которых больше нет.
Ступай, ступай, печальное перо,
куда бы ты меня ни привело,
болтливое, худое ремесло,
в любой воде плещи мое весло.
Так зарисуем пару новых морд:
вот Крысолов из Гаммельна и Чорт,
опять в плаще и чуточку рогат,
но, как всегда, на выдумки богат.
3
Достаточно. Теперь остановлюсь.
Такой сумбур, что я не удивлюсь,
найдя свои стихи среди газет,
отправленных читателем в клозет,
самих читателей объятых сном.
Поговорим о чем-нибудь ином.
Как бесконечно шествие людей,
как заунывно пение дождей
среди домов, а Человек озяб,
маячит пестрота одежд и шляп,
и тени их идут за ними вслед,
и шум шагов и шорох сигарет,
и дождь все льется, льется без конца
на Крысолова, Принца и Лжеца,
на Короля, на Вора и на Плач,
и прячет скрипку под пальто Скрипач,
и на Честнягу Чорт накинул плащ.
Усталый Человек закрыл глаза,
и брызги с дон-кихотова таза
летят на Арлекина, Арлекин
Торговцу кофту протянул — накинь.
Счастливец поднимает черный зонт,

Поэт потухший поднимает взор
и воротник, Князь Мышкин-идиот
склонился над панелью: кашель бьет;
процессия по улице идет,
и дождь, чуть прекратившийся на миг,
стекает вниз с любовников нагих.
Вот так всегда, — когда ни оглянись,
проходит за спиной толпою жизнь,
неведомая, странная подчас,
где смерть приходит словно в первый раз
и где никто-никто не знает нас.
Прислушайся — ты слышишь ровный шум,
быть может, это гул тяжелых дум,
а может, гул обычных новостей,
а может быть — печальный хор страстей.
4. Романс АРЛЕКИНА
По всякой земле
балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.
За веком век, за веком век
ложится в землю любой человек,
несчастлив и счастлив,
зол и влюблен,
лежит под землей не один миллион.
Жалей себя, пожалей себя,
одни говорят — умирай за них,
иногда судьба,
иногда стрельба,
иногда по любви, иногда из-за книг.
Ах, будь и к себе и к другим не плох,
может, тебя и помилует Бог,
однако ты ввысь не особо стремись,
ведь смерть — это жизнь, а жизнь — это жизнь.
По темной земле
балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.
5. Романс КОЛОМБИНЫ
Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
так мало говорит,
мой Арлекин чуть-чуть хитрец,
хотя простак на вид,
ах, Арлекину моему
успех и слава ни к чему,
одна любовь ему нужна,
и я его жена.
Он разрешит любой вопрос,

хотя на вид — простак,
на самом деле, он не прост,
мой Арлекин — чудак.
Увы, он сложный человек,
но главная беда,
что слишком часто смотрит вверх
в последние года.
А в небесах летят, летят,
летят во все концы,
а в небесах свистят, свистят
безумные птенцы,
и белый свет, железный свист
я вижу из окна,
ах, Боже мой, как много птиц,
а жизнь всего одна.
Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
хотя простак на вид, —
нам скоро всем придет конец
вот так он говорит,
мой Арлекин хитрец, простак,
привык к любым вещам,
он что-то ищет в небесах
и плачет по ночам.
Я Коломбина, я жена,
я езжу вслед за ним,
свеча в фургоне зажжена,
нам хорошо одним,
в вечернем небе высоко
птенцы, а я смотрю.
Но что-то в этом от того,
чего я не люблю.
Проходят дни, проходят дни
вдоль городов и сел,
мелькают новые огни
и музыка и сор,
и в этих селах, в городках
я коврик выношу,
и муж мой ходит на руках,
а я опять пляшу.
На всей земле, на всей земле
не так уж много мест,
вот Петроград шумит во мгле,
в который раз мы здесь.
Он Арлекина моего
в свою уводит мглу.
Но что-то в этом от того,
чего я не люблю.
Сожми виски, сожми виски,
сотри огонь с лица,
да, что-то в этом от тоски,

которой нет конца!
Мы в этом мире на столе
совсем чуть-чуть берем,
мы едем, едем по земле,
покуда не умрем.
6. Романс ПОЭТА
Как нравится тебе моя любовь,
печаль моя с цветами в стороне,
как нравится оказываться вновь
с любовью на войне, как на войне.
Как нравится писать мне об одном,
входить в свой дом как славно одному,
как нравится мне громко плакать днем,
кричать по телефону твоему:
— Как нравится тебе моя любовь,
как в сторону я снова отхожу,
как нравится печаль моя и боль
всех дней моих, покуда я дышу.
Так что еще, так что мне целовать,
как одному на свете танцевать,
как хорошо плясать тебе уже,
покуда слезы плещутся в душе.
Всё мальчиком по жизни, всё юнцом,
с разбитым жизнерадостным лицом,
ты кружишься сквозь лучшие года,
в руке платочек, надпись «никуда».
И жизнь, как смерть, случайна и легка,
так выбери одно наверняка,
так выбери, с чем жизнь тебе сравнить,
так выбери, где голову склонить.
Всё мальчиком по жизни, о любовь,
без устали, без устали пляши,
по комнатам расплескивая вновь,
расплескивая боль своей души.
7. Комментарий
Вот наш поэт, еще не слишком стар,
он говорит неправду, он устал
от улочек ночных, их адресов,
пугающих предутренних часов,
от шороха дождя о диабаз,
от редких, от недружелюбных глаз,
от рева проносящихся машин,
от силуэтов горестных мужчин
здесь, в сумраке, от невеселых слов,
от нелюбви, от беспокойных снов,
Бог знает от чего. И от себя.
Он говорит: судьба моя, судьба
брести всю жизнь по улицам другим
куда-нибудь к друзьям недорогим,
а может быть, домой сквозь новый дождь,

и ощущать реку, стекло и дрожь
худой листвы, идти, идти назад,
знакомый и обшарпанный фасад,
вот здесь опять под вечер оживать
и с новой жизнью жизнь свою сшивать.
Все таковы. Да, все слова, стихи,
вы бродите средь нас, как чужаки,
но в то же время — близкие друзья:
любить нельзя и умирать нельзя,
но что-нибудь останется от вас, —
хотя б любовь, хотя б — в последний раз,
а может быть, обыденная грусть,
а может быть, одни названья чувств.
Вперед, друзья. Вперед. Adieu, tristesse.*
Поговорим о перемене мест,
поговорим о нравах тех округ,
где нету нас, но побывал наш друг —
печальный парень, рыцарь, доброхот,
известный вам идальго Дон Кихот.
8. Романс ДОН КИХОТА
Копье мое, копье мое, копье,
оружие, имущество мое,
могущество мое таится в нем,
я странствую по-прежнему с копьем,
как хорошо сегодня нам вдвоем.
Прощай, грусть (фр.).
О чем же я. Ах, эти города,
по переулкам грязная вода,
там ничего особого, о да,
немало богачей встречаю я,
но нет ни у кого из них копья!
Копье мое, копье мое, копье,
имущество, могущество мое,
мы странствуем по-прежнему вдвоем,
когда-нибудь кого-нибудь убьем,
я странствую, я странствую с копьем.
Что города с бутылками вина,
к ним близится великая война,
безликая беда, и чья вина,
что городам так славно повезло.
КАК ТЕНЬ ЛЮДЕЙ - НЕУЯЗВИМО ЗЛО!
Так что же ты теперь, мое копье,
имущество мое, дитя мое.
Неужто я гляжу в последний раз,
кончается мой маленький рассказ,
греми на голове мой медный таз!
Отныне одному из нас конец!
Прощай, прощай, о Санчо, мой мудрец,
прощайте все, я больше не могу,
блести мой таз, как ангельский венец,

по улице с несчастьями бегу.
9. Комментарий
Смешной романс. Да, все мы таковы,
страдальцы торопливые, увы,
ведь мужество смешно, забавен страх,
легко теперь остаться в дураках.
Пойди пойми, над чем смеется век,
о, как тебе неловко, человек.
Так где-то на рассвете в сентябре
бредешь в громадном проходном дворе,
чуть моросит за чугуном ворот,
сухой рукой ты вытираешь рот,
и вот выходишь на пустой проспект,
и вдоль витрин и вымокших газет,
вдоль фонарей, оград, за поворот
все дальше ты уходишь от ворот,
в которых всё живут еще друзья,
которых ни любить, ни гнать нельзя,
все дальше, дальше ты. И на углу
сворачиваешь в утреннюю мглу.
Ступай, ступай. И думай о себе.
В твоей судьбе, как и в любой судьбе,
переплелись, как теплые тела,
твои дела и не твои дела
с настойчивой усталостью души.
Ты слышишь эту песенку в тиши:
Вперед-вперед, отечество мое,
куда нас гонит храброе жулье,
куда нас гонит злобный стук идей
и хор апоплексических вождей.
Вперед-вперед, за нами правота,
вперед-вперед, как наша жизнь верна,
вперед-вперед, не жалко живота,
привет тебе, счастливая война.
Вперед-вперед, за радиожраньем,
вперед-вперед, мы лучше всех живем
весь белый свет мы слопаем живьем
хранимые лысеющим жульем,
хвала тебе, прелестный белый свет,
хвала тебе, удачная война,
вот я из тех, которым места нет,
рассчитывай не слишком на меня.
Прощай, прощай, когда-нибудь умру,
а ты, сосед, когда-нибудь ответь
Лжецу, который делает игру,
когда тебе понадобится смерть.
Ты слышишь эту песенку в тиши.
Иди, иди, пройти квартал спеши.
Ступай, ступай, быстрее проходи.
Ступай, ступай, весь город впереди.

Ступай, ступай, начнется скоро день
твоих и не твоих поспешных дел.
Вот так всегда — здесь время вдаль идет,
а кто-то в стороне о нем поет.
Ступай, ступай, быстрее проходи,
иди, иди, весь город впереди.
Еще на день там возникает жизнь,
но к шествию ты присоединись,
а если надо — будешь впереди,
квартал с поющим песню обойди.
10. Баллада и романс ЛЖЕЦА
Не в новость ложь и искренность не в новость,
попробуйте послушать эту повесть
о горестной истории Лжеца —
балладу без счастливого конца.
Баллада
Не в новость ложь и искренность не в новость.
Какую маску надевает совесть
на старый лик, в каком она наряде
появится сегодня в маскараде,
Бог ведает. Послушайте балладу,
но разделите нежность и браваду,
реальное событье с чудесами —
все это вы проделаете сами.
Придется покорпеть с моим рассказом,
ваш разум будет заходить за разум,
что в общем для меня одно и то же.
Потрудитесь. Но истина дороже.
Я шел по переулку
как ножницы шаги
вышагиваю я
средь бела дня
по проспекту,
как на бумаге,
шагает Некто
наоборот — во мраке.
И вновь благоухали анемоны,
выкрикивали птицы над базаром,
гудели привокзальные колонны,
но я-то проходил среди развалин.
И, Господи, что виделось, что было,
как новая весна меня ловила,
и новым колесом автомобиля
меня на переулочках давила.
И новая весна уже лежала,
любовников ногами окружала
и шарила белесыми руками
и взмахивала тонкими кругами.
Благословен приятель победивший,
благословен удачливый мужчина,

благословен любовник, придавивший
ногой — весну, соперника — машиной.
Лови, лови. Лови меня на слове,
что в улице средь солнца и метели,
что во сто крат лежащий в луже крови
счастливее лежащего в постели.
Слова Лжеца — вы скажете. Ну, что же.
Я щеголяю выдумкой и ложью,
лжецу всегда несчастия дороже:
они на правду более похожи.
Романс
Актер изображает жизнь и смерть,
натягивает бороду, парик.
— Попробуйте однажды умереть! —
знакомый лжец открыто говорит.
Он вечно продолжает свой рассказ,
вы — вечно норовите улизнуть.
Заметив вас, он хочет всякий раз
о вашей жизни что-нибудь сболтнуть.
Он вводит вас в какой-то странный мир
сквозь комнаты дремучие, как лес,
он прячется за окнами квартир,
выкрикивает издали: Я здесь!
Все правильно. Вы чувствуете страх,
все правильно — вы прячете свой взор,
вы шепчете вослед ему — дурак,
бормочете — все глупости и вздор.
Друзья мои, я вам в лицо смотрю,
друзья мои, а вас колотит дрожь,
друзья мои, я правду говорю,
но дьявольски похожую на ложь.
11. Комментарий
Шаги и шорох утренних газет,
и шум дождя, и вспышки сигарет,
и утреннего света пелена,
пустые тени пасмурного дня,
и ложь и правда, что-нибудь возьми,
что движет невеселыми людьми.
Так чувствуешь все чаще в сентябре,
что все мы приближаемся к поре
безмерной одинокости души,
когда дела всё так же хороши,
когда всё так же искренни слова
и помыслы, но прежние права,
которые ты выдумал в любви
к своим друзьям, — зови их, не зови,
звони им — начинают увядать,
и больше не отрадно увидать
в иной зиме такой знакомый след,
в знакомцах новых тот же вечный свет.

Ты облетаешь, дерево любви.
Моей не задевая головы,
слетают листья к замершей земле,
к моим ногам, расставленным во мгле.
Ты все шумишь и шум твой не ослаб,
но вижу я в твоих ветвях октябрь,
все кажется — кого-то ты зовешь,
но с новою весной не оживешь.
Да, многое дала тебе любовь,
теперь вовеки не получишь вновь
такой же свет, хоть до смерти ищи
другую жизнь, как новый хлеб души.
Да, о Лжеце. Там современный слог
и легкий крик, но не возьму я в толк,
зачем он так несдержан на язык,
ведь он-то уже понял и привык
к тому — хоть это дьявольски смешно,
что ложь и правда, кажется, одно,
что лживые и честные слова
одна изобретает голова,
одни уста способны их сказать,
чему же предпочтенье оказать.
Как мало смысла в искренних словах,
цените ложь за равенство в правах
с правдивостью, за минимум возни,
а искренность — за привкус новизны.
Пусть говорит Усталый Человек.
Чего мне ждать от этаких калек,
опять пойдут неловкие стихи,
чуть-чуть литературщины, тоски;
когда-нибудь коснешься тех же мук,
и городских элегий новый звук
опять взлетит. Ну, вот и цель и хлеб:
к своим ногам вымеривать их цепь,
к своей судьбе — и поперек и вдоль
у всех у них одна и та же боль.

12. ГОРОДСКАЯ ЭЛЕГИЯ
(Романс УСТАЛОГО ЧЕЛОВЕКА)

Осенний сумрак листья шевелит
и новыми газетами белеет,
и цинковыми урнами сереет,
и облаком над улочкой парит.
И на мосту троллейбус тарахтит,
вдали река прерывисто светлеет,
и аленький комок в тебе болеет
и маленькими залпами палит.
И снова наступает забытье,
и льется свет от лампы до бумаги,
глядят в окно на странное житье
пугающие уличные знаки.

Комком бумажным катится твой век
вдоль подворотен, вдаль по диабазу
и в закоулках пропадает сразу.
А ты смотри, ты все смотри наверх.
Хоть что-нибудь увидишь в небесах,
за новыми заметишь облаками...
Как странно обнаружить на часах
всю жизнь свою с разжатыми руками
и вот понять: она — как забытье,
что, не прожив ее четвертой части,
нежданно оказался ты во власти
и вовсе отказаться от нее.

13. Комментарий

Читатель мой, куда ты запропал.
Ты пару монологов переспал,
теперь ты посвежел, сидишь, остришь,
а вечером за преф или за бридж
от нового романса улизнешь,
конечно, если раньше не заснешь.
Так, видимо, угоднее судьбе.
О чем же я горюю, о себе.
Пожалуй, нет. Привычно говорю.
Ведь я и сам немногое дарю,
привычно хлопочу: читатель где!
И, кажется, читаю в пустоте.
Горюй, горюй, попробуем сберечь
всех персонажей сбивчивую речь,
что легче, чем сулить и обещать,
чем автора с героями смешать,
чем, вздрагивая, хмыкая, сопя,
в других искать и находить себя.
Горюй, горюй, сквозь наши времена
плывут и проползают имена
других людей, которых нам не знать,
которым суждено нас обогнать,
хотя бы потому, что и для нас
трудней любить все больше всякий раз.
Итак, за сценой нарастает джаз,
и красные софиты в три луча
выносят к рампе песню Скрипача.

14. Романс СКРИПАЧА

Тогда, когда Любовей с нами нет,
тогда, когда от холода горбат,
достань из чемодана пистолет,
достань и заложи его в ломбард.
Купи на эти деньги патефон
и где-нибудь на свете потанцуй
(в затылке нарастает перезвон),
ах, ручку патефона поцелуй.
Да, слушайте совета Скрипача,

как следует стреляться сгоряча:
не в голову, а около плеча!
Живите только плача и крича!
На блюдечке я сердце понесу
и где-нибудь оставлю во дворе.
Друзья, ах, догадайтесь по лицу,
что сердца не отыщется в дыре,
проделанной на розовой груди,
и только патефоны впереди,
и только струны-струны, провода,
и только в горле красная вода.
15. Комментарий
Он отнимает скрипку от плеча.
Друзья, благодарите Скрипача.
Так завернем в бумажку пятаки
и — в форточку. И взмах его руки
на дне двора беспомощно мелькнет,
он медленно наклонится, вздохнет
и, растянув в полуулыбке рот,
упавшие монеты подберет.
Вот вспоминай года после войны.
По всем дворам скитаются они,
и музыка ползет вдоль темных стен
то дважды в день, а то и трижды в день.
Свистят, свистят весь день смычки калек,
как будто наступает новый век,
сплошное пенье, скрипки, кутерьма,
и струнами опутаны дома,
и всё смычки военные свистят,
и пятаки по воздуху летят.
Как учит нас столетье выбирать
тот возраст, где удачней умирать,
где целый дом роняет из ОКНА
тот возраст, где кончается война,
тот возраст, где ты шествовал меж пуль.
И голову просовываешь в нуль,
просовываешь новую тоску
в нуль с хвостиком, а хвостик — к потолку.
Но где они, куда они ушли
и где твои слова их не нашли.
Ведь это все звучало не вчера,
и, слыша только скрипки со двора,
сквозь эти дни все рушится вода.
К каким делам мы перешли тогда.
Была ли это правда или ложь,
теперь наверняка не разберешь,
нс^ кто-то был правдив, а кто-то лжив,
но" кто-то застрелился, кто-то жив,
а кто играет до сих пор в кино,
но остальные умерли давно.

Но был другой — таким и нужно быть, —
кто ухитрился обо всем забыть,
своей игрой столовые пленяв.
Живи, живи, мы встретимся на днях.
Живи в послевоенных городах,
играй в столовых, вечером — в садах,
играй, играй провинциальный вальс
и мальчикам подмигивай — для нас.
Твой день пройдет, мелькнет, как легкий тур
среди смычков, огней, клавиатур,
провинциальный клен прошелестит,
и женщина знакомая простит,
и Бог простит бездумный краткий век
военных и заслуженных калек,
и ты уйдешь, не задолжав за хлеб,
но искус у окна преодолев...
16
И продолжать осмеливаюсь я.
Вперед, моя громоздкая ладья,
читатель мой, медлительность прости,
мне одному приходится грести.
Вот Арлекин в проулок повернул,
а Лжец Поэту ловко подмигнул
и, за руку схватив, повлек в проход,
за ними увязался Дон Кихот.
И вот они уже у входа в бар.
Усталый Человек на тротуар
бессильно опустился и заснул,
а дождь все лил, и разносился гул
дневных забот, Скрипач висел в петле.
А мы поговорим о Короле.
17. Баллада и романс КОРОЛЯ
Баллада
Жил-был король, жил-был король,
он храбрый был, как лев,
жил-был король, жил-был король,
король без королев.
Он, кроме хлеба, ничего
не ел, не пил вина,
одна отрада у него
была: война, война.
И день и ночь в седле, в седле,
и день и ночь с мечом,
он мчался, мчался по земле,
и кровь лилась ручьем
за ним, за ним, а впереди
рассветный ореол,
и на закованной груди
во мгле мерцал орел.
Летели дни, неслись года,

он не смыкал очей,
о, что гнало его туда,
где вечный лязг мечей,
о, что гнало его в поход,
вперед, как лошадь — плеть,
о, что гнало его вперед,
искать огонь и смерть.
И сеять гибель каждый раз,
топтать чужой посев...
То было что-то выше нас,
то было выше всех.
Ответь, ответь, найди ответ,
тотчас его забудь,
ответь, ответь, найди ответ,
но сам таким не будь.
Он пред врагами честь свою
и шпагу не сложил,
он жизнь свою прожил в бою,
он жизнь свою прожил!
Гони, гони, гони коней,
богатство, смерть и власть,
но что на свете есть сильней,
но что сильней, чем страсть.
Враги поймут, глупцы простят,
а кто заучит роль,
тот страстотерпец, тот солдат,
солдат, мертвец, король.
Простись, простись, простимся с ним,
простимся, чья вина,
что тишь да гладь нужна одним,
другим нужна война,
и дробь копыт, и жизни дробь,
походные костры.
Одним — удар земли о гроб,
другим — кларнет зари.

Романс

— Памятью убитых, памятью всех,
если не забытых, так все ж без вех
лежащих беззлобно — пусты уста,
без песенки надгробной, без креста.
Я-то уж, наверно, ею не храним,
кто-нибудь манерно плачет по ним,
плачет, поминает землю в горсти,
меня проклинает, Господь, прости.
Нет мне изгнанья ни в рай, ни в ад,
долгое дознанье, кто виноват,
дело-то простое, гора костей,
Господи, не стоит судить людей.
Ежели ты выжил — садись на коня,
что-то было выше, выше меня,

я-то проезжаю вперед к огню,
я-то продолжаю свою войну.
Я проезжаю. В конце — одно.
Я-то продолжаю, не все ли равно,
все-то на свете в говне, в огне,
саксофоны смерти поют по мне.
Радость или злобу сотри с лица,
орлик мой орлик, крылья на груди,
Жизни и Смерти нет конца,
где-нибудь на свете лети, лети.

18. Комментарий

Как нравится романс его тебе.
Гадай, как оказался он в толпе,
но только слишком в дебри не залезь,
и в самом деле, что он делал здесь,
среди дождя, гудков автомашин,
кто может быть здесь более чужим,
среди обвисших канотье, манжет
и старых пузырящихся газет,
чем вылезший на монотонный фон
нечесаный смятенный солдафон.
Кошмар столетья — ядерный грибок,
но мы привыкли к топоту сапог,
привыкли к ограниченной еде,
годами лишь на хлебе и воде,
иного ничего не бравши в рот,
мы умудрялись продолжать свой род,
твердили генералов имена,
и модно хаки в наши времена;
всегда и терпеливы и скромны,
мы жили от войны и до войны,
от маленькой войны и до большой,
мы все в крови — в своей или чужой.
Не привыкать. Вот взрыв издалека.
Еще планета слишком велика,
и нелегко все то, что нам грозит,
не только осознать — вообразить.
Но оборву. Я далеко залез.
Политика. Какой-то темный лес.
И жизнь и смерть и скука до небес.
Что далее. А далее — зима.
Пока пишу, остывшие дома
на кухнях заворачивают кран,
прокладывают вату между рам,
теперь ты домосед и звездочет,
октябрьский воздух в форточки течет,
к зиме, к зиме все движется в умах,
и я гляжу, как за церковным садом
железо крыш на выцветших домах
волнуется, готовясь к снегопадам.

Читатель мой, сентябрь миновал,
и я все больше чувствую провал
меж временем, что движется бегом,
меж временем и собственным стихом.
Читатель мой, ты так нетерпелив,
но скоро мы устроим перерыв,
и ты опять приляжешь на кровать,
а может быть, пойдешь потанцевать.
Читатель мой, любитель перемен,
ты слишком много требуешь взамен
поспешного вниманья твоего.
И мне не остается ничего,
как выдумать какой-то новый ход,
чтоб избежать обилия невзгод,
полна которых косвенная речь,
все для того, чтобы тебя увлечь.
Я продолжаю. Начали. Пора.
Нравоучений целая гора
из детективной песенки Вора.
19. Романс ВОРА
Оттуда взять, отсюда взять.
Куда потом сложить.
Рукою в глаз, коленом в зад,
и так всю жизнь прожить.
1 о г
И день бежит, и дождь идет,
во мгле летит авто,
и кто-то жизнь у нас крадет,
но непонятно кто.
Держи-лови, вперед, назад,
подонок, сука, тать!
Отсюда взять, оттуда взять,
кому потом продать.
Звонки, гудки, свистки, дела,
в конце всего — погост,
и смерть пришла, и жизнь прошла
как будто псу под хвост.
Свистеть щеглом и сыто жить,
а также лезть в ярмо,
потом и то и то сложить
и получить дерьмо.
И льется дождь, и град летит,
везде огни, вода,
но чей-то взгляд следит, следит
за мной всегда, всегда.
Влезай, влетай в окно, птенец,
вдыхай амбре дерьма,
стрельба и смерть — один конец,
а на худой — тюрьма.
И жизнь и смерть в одних часах,

о, странное родство!
ВСЕВЫШНИЙ СЫЩИК в небесах
и чье-то воровство.
Тебе меня не взять, не взять,
не вдеть кольца в ноздрю,
рукою в глаз, коленом в зад,
и головой — в петлю!
Ю2
20. Комментарий
Поэты утомительно поют,
а воры нам загадки задают.
Куда девался прежний герметизм.
На что теперь похожей стала жизнь.
Сплошной бордель.
Но мы проявим такт:
объявим-ка обещанный антракт.
Танцуйте все и выбирайте дам.
Осмеливаюсь я напомнить вам:
не любят дамы скучного лица.
Теперь уж недалёко до конца.
(Уходит, следует десятиминутный
джазовый проигрыш)
Конец первой части
Часть II
Уже дома пустеют до зари,
листва внизу, и только ветер дует,
уже октябрь, читатели мои,
приходит время новых поцелуев.
Спешат, спешат над нами облака
куда-то вдаль, к затихшей непогоде.
О чем писать, об этом ли уходе.
И новый свет бежит издалека,
и нам не миновать его лучей.
И, может быть, покажется скучней
мое повествование, чем прежде.
Но, Боже мой, останемся в надежде,
что все же нам удастся преуспеть:
вам — поумнеть, а мне — не поглупеть.
Я продолжаю. Начали. Вперед.
21
Вот шествие по улице идет.
Уж вечереет. Город кроет тень.
Все тот же город, тот же год и день,
и тот же дождь и тот же гул и мгла,
и тот же тусклый свет из-за угла,
и улица все та ж, и магазин,
и вот толпа гогочущих разинь.
А вечер зажигает фонари.
Студентики, фарцмены, тихари,
грузины, блядуны, инженера

и потаскушки — вечная пора,
вечерняя пора по городам,
полупарад ежевечерних дам,
солдатики, курсантики — крупа...
Однообразна русская толпа.
О них еще продолжим разговор,
впоследствии мы назовем их — ХОР.
Бредет сомнамбулический отряд.
Самим себе о чем-то говорят,.
князь Мышкин, Плач, Честняга, Крысолов
о чем-то говорят, не слышно слов,
а только шум. Бредут, бредут, хрипя,
навеки погруженные в себя,
и над Счастливцем зонтик распростерт,
и прижимается к Торговцу Чорт,
принц Гамлет руки сложит на груди,
Любовники белеют позади.
Читатель мой, внимательней взгляни:
завесою дождя отделены
от нас с тобою десять человек.
Забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь,
и в улицу шагни, накинув плащ,
и, втягивая голову меж плеч,
ты попытайся разобрать их речь.
22. Романс князя МЫШКИНА
В Петербурге снег и непогода,
в Петербурге горестные мысли,
проживая больше год от года,
удивляться в Петербурге жизни.
Приезжать на Родину в карете,
приезжать на Родину в несчастьи,
приезжать на Родину для смерти,
умирать на Родине со страстью.
Умираешь, ну и Бог с тобою,
во гробу, как в колыбельке чистой,
привыкать на родине к любови,
привыкать на родине к убийству.
Боже мой, любимых, пережитых,
уничтожить хочешь — уничтожишь,
подними мне руки для защиты,
если пощадить меня не можешь.
Если ты не хочешь. И не надо.
И в любви, испуганно ловимой,
поскользнись на родине и падай,
оказавшись во крови любимой.
Уезжать, бежать из Петербурга.
И всю жизнь летит до поворота,
до любви, до сна, до переулка
зимняя карета идиота.

23. Комментарий
А все октябрь за окном шумит,
и переулок за ночь перемыт
не раз, не два холодною водой,
и подворотни дышат пустотой.
Теперь все позже гаснут фонари,
неясный свет октябрьской зари
не затопляет мёрзлые предместья,
и все ползет по фабрикам туман,
еще не прояснившимся умам
мерещатся последние известья,
и тарахтя и стеклами, и жестью,
трамваи проезжают по домам.
(В такой-то час я продолжал рассказ.
Недоуменье непротертых глаз
и невниманье полусонных душ
и торопливость, как холодный душ,
сливались в леденящую струю
и рушились в мистерию мою.)
Читатель мой, мы в октябре живем.
В твоем воображении живом
теперь легко представится тоска
несчастного российского князька.
Ведь в октябре несложней тосковать,
морозный воздух молча целовать,
листать мою поэму...
Боже мой,
юб
что, если ты прочтешь ее зимой
иль в августе воротишься домой
из южных путешествий, загорев,
и, только во вступленьи надоев,
довольством и вниманием убит,
я буду брошен в угол и забыт,
чтоб поразмыслить над своей судьбой,
читатель мой...
А впрочем, чорт с тобой!
Прекрасным людям счастья не дано.
Счастливое рассветное вино,
давно кружить в их душах перестав,
мгновенно высыхает на устах,
и снова погружается во мрак
прекраснодушный идиот, дурак,
и дверь любви запорами гремит,
и в горле горечь тягостно шумит.
Так пей вино тоски и нелюбви
и смерть к себе испуганно зови,
чужие души робко теребя.
Но хватит комментариев с тебя.
Читатель мой, я надоел давно,

но все же посоветую одно:
когда придет октябрь — уходи,
по сторонам презрительно гляди,
кого угодно можешь целовать,
обманывать, грубить и блядовать,
до омерзенья, до безумья пить.
Но в октябре не начинай любить.
(Я умудрен, как змей или отец.)
Но перейдем к Честняге, наконец.
24. Романс для ЧЕСТНЯГИ и ХОРА
Хор:
Здесь дождь и дым и улица,
туман и блеск огня.
Честняга:
Глупцы, придурки, умники,
послушайте меня,
как честностью прославиться,
живя в добре и зле,
что сделать, чтоб понравиться
на небе и земле.
Я знал четыре способа:
— Покуда не умрешь,
надеяться на Господа...
Хор:
Ха-ха, приятель, врешь!
Честняга:
Я слышу смех, иль кажется
мне этот жуткий смех.
Друзья, любите каждого,
друзья, любите всех —
- и дальнего и ближнего,
детей и стариков...
Хор:
Ха-ха, он выпил лишнего,
он ищет дураков!
Честняга:
Я слышу смех. Наверное,
я слышу шум машин;
друзья, вот средство верное,
вот идеал мужчин:
— Берите весла длинные,
топор, пилу, перо —
и за добро творимое
получите добро,
ю8
стучите в твердь лопатами,
марайте белый лист.
— Воздастся и заплатится...
Хор:
Ха-ха, приятель, свист!

Ты нас считаешь дурнями,
считаешь за детей.
Честняга:
Я слышу смех. Я думаю,
что это смех людей.
И я скажу, что думаю,
пускай в конце концов
я не достану курева
у этих наглецов.
О, как они куражатся,
но я скажу им всем
четвертое и, кажется,
ненужное совсем,
четвертое (и лишнее),
души (и тела) лень.
— За ваши чувства высшие
цепляйтесь каждый день,
за ваши чувства сильные,
за горький кавардак
цепляйтесь крепче, милые...
Хор:
А ну, заткнись, мудак!
Чего ты добиваешься,
ты хлебало заткни,
чего ты дорываешься
над русскими людьми.
Земля и небо — Господа,
но нам дано одно.
Ты знал четыре способа,
но все они — говно.
Но что-то проворонил ты:
юр
чтоб сыто есть и пить,
ты должен постороннему
на горло наступить.
Прости, мы извиняемся,
но знал ли ты когда,
как запросто меняются
на перегной года,
взамен обеда сытного,
взамен «люблю-люблю» —
труда, но непосильного,
с любовью — по рублю.
И нам дано от Господа
немногое суметь,
но ключ любого способа,
но главное — ПОСМЕТЬ,
посметь заехать в рожу
и обмануть посметь,
и жизнь на жизнь похожа!

Честняга:
Но более — на смерть.
25. Комментарий
Предоставляю каждому судить,
кого здесь нужно просто посадить
на цепь и за решетку. Чудеса.
Не лучше ль будет отвести глаза.
И вновь увидеть золото аллей,
закат, который пламени алей,
и шум ветвей и листья у виска,
и чей-то слабый взор издалека,
и над Невою воздух голубой,
и голубое небо над собой.
И сердце бьется медленней в груди,
и кажется — все беды позади,
и даже голоса их не слышны.
И посредине этой тишины
им не связать оборванную нить,
не выйти у тебя из-за спины,
чтоб сад, и жизнь, и осень заслонить.
Стихи мои как бедная листва.
К какой зиме торопятся слова.
Но как листву — испуганно лови
вокруг слова из прожитой любви,
и прижимай ладони к голове,
и по газонной согнутой траве
спеши назад — они бегут вослед,
но кажется, что впереди их нет.
Живи, живи под шум календаря,
о чем-то непрерывно говоря,
чтоб добежать до самого конца
и, отнимая руки от лица,
увидеть, что попал в знакомый сад,
и обернуться в ужасе назад:
— Как велики страдания твои.
Но, как всегда не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья твоего.
26
Средь шумных расставаний городских,
гудков авто и гулов заводских
и теплых магазинных площадей
опять встречать потерянных людей,
в какое-то мгновенье вспоминать
и всплескивать руками, догонять,
едва ли не попав под колесо,
да, догонять, заглядывать в лицо,
и узнавать, и тут же целовать,
от радости на месте танцевать
и говорить о переменах дел,

«да-да, я замечаю, похудел»,
«да-да, пора заглядывать к врачу»,
и дружелюбно хлопать по плечу,
и, вдруг заметив время на часах
и телефон с ошибкой записав,
опять переминаться и спешить,
приятеля в объятьях придушить
и торопиться за трамваем вслед,
теряя человека на пять лет.
in
Так обойдется время и со мной.
Мы встретимся однажды на Сенной
и, пары предложений не связав,
раздвинув рты и зубы показав,
расстанемся опять — не навсегда ль? —
и по Садовой зашагает вдаль
мой грозный век, а я, как и всегда,
через канал, неведомо куда.
27
Вот шествие по улице идет
и нас с тобою за собой ведет,
да, нас с тобой, мой невеселый стих.
И все понятней мне желанье их
по улице куда-нибудь плестись,
все отставать и где-то разойтись,
уже навек, чтоб затерялся след,
чтоб вроде бы их не было и нет,
и это не насмешка и не трюк,
но это проще, чем петля и крюк,
а цель одна и в тот и в этот раз,
да, цель одна: пусть не тревожат нас.
Пусть не тревожат нас в осенний день.
Нам нелегко, ведь мы и плоть и тень
одновременно, вместе тень и свет,
считайте так, что нас на свете нет,
что вас толкнула тень, а не плечо.
А нам прожить хотя бы день еще,
мы не помеха, мы забьемся в щель.
А может быть, у них иная цель.
Перед тобою восемь человек,
забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь.
Вон, посмотри, проходит мимо — Плач.
28. ПЛАЧ
В Петербурге сутолка и дрожь,
в переулках судорожный дождь,
вдоль реки по выбоинам скул
пробегает сумеречный гул.
Этот плач по каждому из нас,
это город валится из глаз,

это про-летают у аллей
скомканные луны фонарей.
Это крик по собственной судьбе,
это плач и слезы по себе,
это плач, рыдание без слов,
погребальный звон колоколов.
Словно смерть и жизнь по временам —
это служба вечная по нам,
это вырастают у лица,
как деревья, песенки конца.
Погре-бальный белый пароход,
с полюбовным венчиком из роз,
похо-ронный хор и хоровод,
как Харону дань за перевоз.
Этот стук по нынешним гробам,
это самый новый барабан,
это саксофоны за рекой,
это общий крик за упокой.
Ничего от смерти не убрать.
Отчего так страшно умирать,
неподвижно лежа на спине,
в освещенной вечером стране.
Оттого, что жизни нет конца,
оттого, что сколько ни зови,
все равно ты видишь у лица
тот же лик с глазами нелюбви.

29. Комментарий

Тоска, тоска. Хоть закричать в окно.
На улице становится темно,
и все труднее лица различать,
и все трудней фигуры замечать,
не все ль равно. И нарастает злость.
Перед тобой не шествие, а горсть
измученных и вымокших людей.
И различать их лица все трудней.
Все те же струйки около висков,
все то же тарахтенье башмаков,
тоска ложится поперек лица.
Далёко ли, читатель, до конца.
Тоска, тоска. То тише, то быстрей
вдоль тысячи горящих фонарей,
дождевиков, накидок и пальто,
поблескивая, мечутся авто,
подъезды освещенные шумят,
как десять лет вперед или назад,
и залы театральные поют,
по-прежнему ища себе приют,
по улицам бездомные снуют.
А что бы ты здесь выбрал для себя.
По переулкам, истово трубя,

нестись в автомобиле или вдруг
в знакомый дом, где счастливый твой друг
в прихожей пальцем радостно грозит
за милый неожиданный визит,
а может — с торопливостью дыша,
на хоры подниматься неспеша,
а может быть, оплакивать меня,
по тем же переулкам семеня.
Но плакать о себе — какая ложь!
Как выберешь ты, так и проживешь.
Так научись минутой дорожить,
которую дано тебе прожить,
не успевая все предусмотреть,
в которой можно даже умереть,
побольше думай, друг мой, о себе,
оказываясь в гуще и в гурьбе,
быстрее выбирайся и взгляни
хоть раз — не изнутри — со стороны.
Так выбирай сверкающий подъезд
или пластмассу театральных мест,
иль дом друзей, былое возлюбя.
Но одного не забывай — СЕБЯ.
Окончен день. Но это для него,
да, для полугероя моего.
А здесь все те же длятся чудеса,
здесь, как и прежде, время три часа,
а может быть — часы мои не лгут —
здесь вечность без пятнадцати минут.
Здесь время врет, а рядом вечность бьет,
и льется дождь, и шествие идет
куда-нибудь по-прежнему вперед,
и наш Торговец открывает рот.

30. Романс ТОРГОВЦА

На свете можно все разбить,
возможно все создать,
на свете можно все купить
и столько же продать.
Как просто ставить жизнь в актив,
в пассив поставив кровь,
купив большой презерватив,
любовь и нелюбовь.
Но как бы долго ни корпел,
но сколько б ни копил,
смотри, как мало ты успел,
как мало ты купил.
Твой дом торговый прогорит,
ты выпрыгнешь в окно,
но Кто-то сверху говорит,
что это все равно.
Ох, если б Он не наезжал

по нескольку недель
в бордель, похожий на базар,
и в город — на бордель.
И5
Когда б Он здесь и не бывал,
не приходил во сны,
когда б ГОСПОДЬ НЕ НАБИВАЛ
СТРАНЕ МОЕЙ ЦЕНЫ,
то кто бы взглядывал вперед,
а кто по сторонам,
смотрел бы счастливый народ
назад по временам,
и кто-то б думал обо мне,
и кто-нибудь звонил,
когда бы смерть пришла — в огне
меня бы схоронил,
и пепел по ветру! как пыль,
не ладанку на грудь!
Как будто не было. НО БЫЛ,
но сам таким не будь.
Прощай, мой пасынок, мой сын,
смотри, как я горю,
и взором взглядывай косым
на родину свою.
Над нами время промолчит,
пройдет, не говоря,
и чья-то слава закричит
немая, не моя.
В погонах века своего,
как маленький простак,
вступай, мой пасынок, в него
с улыбкой на устах,
вдыхая сперму и бензин
посередине дня,
входи в великий магазин,
не вспоминай меня.
иб
31. Комментарий
Увы, несчастливый пример
для тех, кто помнить и любить умел
свои несовершенные дела...
Но к нам идет жестокая пора,
идет пора безумного огня.
(О, стилизованный галоп коня,
и пена по блестящим стременам,
и всадник Апокалипсиса — к нам!)
Идет пора... Становится темней.
Взгляни на полуплоть полутеней,
взгляни на шевелящиеся рты —
о, если б хоть таким остался ты.

Ведь, может быть, они — сквозь сотни лет
каких-то полных жизней полусвет.
Огонь. Элементарная стрельба.
Какая элегантная судьба:
лицо на фоне общего гриба,
и небольшая плата наконец
за современный атомный венец
и за прелестный водородный гром...
О, человек наедине со злом!
Вы редко были честными, друзья.
Ни сожалеть, ни плакать здесь нельзя,
отходную столетию не спеть,
хотя бы потому, что не успеть,
хоть потому, что вот мы говорим,
а с одного конца уже горим
и, может статься, завтра этот День.
И кто прочтет мою поэму. Тень.
Огонь, огонь. Столетие — в ружье!
Но — плоть о плоть и влажное белье...
Огонь, огонь. Ты чувствуешь испуг.
...Но темнота и юной плоти стук
в ночи, как современный барабан
перед атакой, и выходит Пан
и не свирель, а флейту достает,
и лес полуразрушенный поет,
растут грибы и плещутся ручьи
сквозь сонные зачатия в ночи.
Играй, играй тревогу и печаль —
кого-нибудь оказывалось жаль,
но было поздно. Видимо, судьба.
И флейта, как архангела труба,
на Страшный Суд меня не позовет.
Вот шествие по улице идет,
и остается пятеро уже.
Так что там у Счастливца на душе.

32. Романс СЧАСТЛИВЦА

Ни родины, ни дома, ни изгнанья,
забвенья — нет, и нет — воспоминанья,
и боли, вызывающей усталость,
из прожитой любови не осталось.
Как быстро возвращаются обратно
встревоженные чувства, и отрадно,
что снова можно радостно и нервно
знакомцу улыбаться ежедневно.
Прекрасная, изысканная мука —
смотреть в глаза возлюбленного друга
на освещенной вечером отчизне
и удивляться продолженью жизни.
Я с каждым днем все чаще замечаю,
что все, что я обратно возвращаю —

то в августе, то летом, то весною, —
какой-то странной блещет новизною.
Но по зиме и по земле холодной
пустым, самоуверенным, свободным
куда как легче, как невозмутимей
искать следы любви невозвратимой.
Но находить — полузнакомых женщин,
тела, дома и голоса без трещин,
и8
себя — бегущим по снегу спортсменом,
всегда себя таким же неизменным.
Какое удивительное счастье
узнать, что ты над прожитым невластен,
что то и называется судьбою,
что где-то протянулось за тобою:
моря и горы — те, что переехал,
твои друзья, которых ты оставил,
и этот день посередине века,
который твою молодость состарил —
всё потому, что, чувствуя поспешность,
с которой смерть приходит временами,
фальшивая и искренняя нежность
кричит, как жизнь, бегущая за нами.
33. Комментарий
Волнение чернеющей листвы,
волненье душ и невское волненье,
и запах загнивающей травы,
и облаков белесое гоненье,
и странная вечерняя тоска,
живущая и замкнуто и немо,
и ровное дыхание стиха,
нежданно посетившее поэму
в осенние недели в октябре, —
мне радостно их чувствовать и слышать,
и снова расставаться на заре,
когда светлеет облако над крышей
и посредине грязного двора
блестит вода, пролившаяся за ночь.
Люблю тебя, рассветная пора,
и облаков стремительную рваность
над непокрытой влажной головой,
и молчаливость окон над Невой,
где все вода вдоль набережных мчится
и вновь не происходит ничего
и далеко, мне кажется, вершится
мой Страшный Суд, суд сердца моего.
Я затянул, что дальше и нельзя.
Но скоро все окончится, друзья.
Да, слишком долго длился мой рассказ —
часы не остановятся для вас.

Что ж, хорошо. И этому я рад.
Мои часы два месяца стоят,
и шествие по улице идет.
Толпа то убывает, то растет,
и, не переставая, дождик льет.
И жизнь шумит и зажигает свет,
и заболевших навещает смерть,
распахивая форточки квартир
и комнаты с багетами картин,
с пюпитрами роялей, с тишиной,
где Дочь с Отцом, где Бедный Муж с Женой
прощаются. И привыкаешь сам
судить по чувствам, а не по часам
бегущий день. И вот уже легко
понять, что до любви недалеко,
что, кажется, войны нам не достать,
до брошенных друзей рукой подать.
Как мало чувств, как мало слез из глаз
меж прежних нас и современных нас.
Так чем же мы теперь разделены
с вчерашним днем. Лишь чувством новизны,
когда над прожитым поплачешь всласть,
над временем захватывая власть.
Октябрь, октябрь, и колотье в боку,
и самое несносное, наверно,
вдруг умереть на левом берегу
реки, среди которой ежедневно
искал и находил кричащих птиц,
и сызнова по набережным бледным
вдоль улочек и выцветших больниц
ты проносился, вздрагивал и медлил.
Октябрь, октябрь. Пойти недалеко
и одинокость выдать за свободу.
Октябрь, октябрь, на родине легко
и без любви прожить четыре года,
цепляться рукавом за каждый куст,
в пустом саду оказываться лишним
и это описанье правды чувств
опять считать занятием невысшим.
Все холоднее в комнате моей,
все реже слышно хлопанье дверей
в квартире, засыпающей к обеду,
все чаще письма сыплются соседу,
а у меня — сквозь приступы тоски —
все реже телефонные звонки.
Теперь полгода жить при темноте,
ладони согревать на животе,
писать в обед, пока еще светло,
смотреть в заиндевевшее стекло
и, как ребенку, радоваться дням,

когда знакомцы приезжают к нам.
Настали дни прозрачные, как свист
свирели или флейты. Мертвый лист
настойчиво желтеет меж стволов,
и с пересохших теннисных столов
на берегу среди финляндских дач
слетает век, как целлулоидный мяч.
Так в пригород и сызнова назад.
Приятно возвращаться в Ленинград
из путешествий получасовых
среди кашне, платочков носовых,
среди газет, пальто и пиджаков,
приподнятых до глаз воротников
и с цинковым заливом в голове
пройти у освещенного кафе.
Закончим нашу басню в ноябре.
В осточертевшей, тягостной игре
не те заводки, выкрики не те,
прощай, прощай, мое моралите
(и мысль моя, как белочка и круг).
Какого чорта в самом деле, друг!
Ведь не затем же, чтоб любитель книг
тебе вослед мигнул: Философик! —
и хохотнул, а кто-нибудь с тоской
сочувственно промолвил бы: «на кой».
Так что там о заливе — цвет воды
и по песку замерзшему следы,
рассохшиеся дачные столы,
вода, песок, сосновые стволы,
и ветер все елозит по коре.
Закончим нашу басню в ноябре,
кота любви подтягивай к мешку.
Любовников пропустим по снежку.

35-36. Романсы ЛЮБОВНИКОВ

1

— Нет действия томительней и хуже,
медлительней, чем бегство от любови.
Я расскажу вам басню о союзе,
а время вы подставите любое.
Вот песенка о Еве и Адаме,
вот грезы простолюдина о фее,
вот мадригалы рыцаря о даме
и слезы современного Орфея.
По выпуклости-гладкости асфальта,
по сумраку, по свету Петрограда
гони меня — любовника, страдальца,
любителя, любимчика разлада.
Гони меня, мое повествованье,
подалее от рабства или власти
куда-нибудь — с развалин упованья

на будущие искренние страсти.
Куда-нибудь. Не ведаю. По свету.
Немногое на свете выбирая
из горестей, но радостно по следу,
несчастие по следу посылая.
Как всадники безумные за мною,
из прожитого выстрел за спиною,
так зимняя погоня за любовью
окрашена оранжевою кровью.
Так что же там! Растущее мерцанье,
о Господи, как яростно и быстро.
Не всадника ночное восклицанье,
о Господи, а крик МОТОЦИКЛИСТА.
Так гонятся за нами не по следу —
по возгласу, по выкрику, по визгу,
все вертятся колесики по свету
и фарами выхватывают жизни.
Разгневанным и памятливым оком
оглянешься — и птицею воскреснешь
и обернешься вороном и волком
и ящеркой в развалинах исчезнешь.
И вдруг себя почувствуешь героем,
от страха и от радости присвистни,
как будто домик в хаосе построил
по всем законам статики и жизни.

2

— Бежать, бежать через дома и реки,
и все кричать — мы вместе не навеки,
останься здесь и на плече повисни,
на миг вдвоем посередине жизни.
И шум ветвей как будто шорох платья,
и снег летит, и тишина в квартире,
и горько мне теперь твое объятье,
соединенье в разобщенном мире.
Нет-нет, не плачь, ты все равно уходишь,
когда-нибудь ты все равно находишь
у петроградских тарахтящих ставней
цветов побольше у ограды давней.
И только жизнь меж нас легко проходит
и что-то вновь из наших душ уносит,
и шумный век гудит, как пароходик,
и навсегда твою любовь увозит.
Бежит река, и ты бежишь вдоль брега,
и быстро сердце устает от бега,
и снег кружит у петроградских ставень,
взмахни рукой — теперь ты все оставил.
Нет-нет, не плачь, когда других находят,
пустой рассвет легко в глаза ударит,
нет-нет, не плачь о том, что жизнь проходит
и ничего тебе совсем не дарит.

Всего лишь жизнь. Ну вот, отдай и это,
ты так страдал и так просил ответа,
спокойно спи. Здесь не разлюбят, не разбудят,
как хорошо, что ничего взамен не будет.

37. Комментарий

Любовник-оборотень, где же ты теперь,
куда опять распахиваешь дверь,
в какой парадной сызнова живешь,
в каком окошке вороном поешь.
Все ерунда. Ты в комнате сидишь
с газетой, безучастный к остальному.
Кто говорит, что вороном летишь
и серым волком по лесу ночному.
Все ерунда. Ты, кажется, уснул,
ты в сердце все утраты переставил,
ты, кажется, страданья обманул,
послушному уму их предоставил...
И нет тебя как будто бы меж нас,
и бьют часы о том, что поздний час,
и радио спокойно говорит,
и в коридоре лампочка горит.
Но всякий раз, услышав ночью вой,
я пробуждаюсь в ужасе и страхе:
да, это ты вороной и совой
выпрыгиваешь из дому во мраке.
О чем-нибудь, о чем-нибудь ином,
о чем-нибудь настойчиво и нервно,
о комнате с завешенным окном...
Но в комнате с незапертою дверью
рост крыльев в полуночные часы
и перьев шум. И некуда мне деться,
Любовник-оборотень, Господи спаси,
спаси меня от страшного соседства.
Проходит в коридоре человек,
стучит когтями по паркету птица
и в коридоре выключает свет
и выросшим крылом ко мне стучится.
Явление безумия в ночи,
нежданность и испуганность простится,
не прячься, не юродствуй, не кричи, —
никто теперь в тебе не загостится
подолее, чем нужно небесам,
подолее, чем в ночь под воскресенье,
и вскоре ты почувствуешь и сам,
что бедный ум не стоит опасенья,
что каждому дано не по уму.
Да, скоро ты и в этом разберешься
и к бедному безумью своему
привыкнешь и с соседями сживешься.
Прекрасный собеседник у меня!

Вот птичий клюв и зубы человека,
вот, падая, садясь и семеня,
ко мне, полуптенец, полукалека,
скачками приближается на миг
и шепчет мне и корчится от боли:
— Забавный птенчик в городе возник
из пепла убывающей любови,
ха-ха, а вот и я, и погляди,
потрогай перья на моей груди,
там раньше только волосы росли,
татуировки розами цвели,
а вот глаза — не бойся, идиот...
38
Вот шествие по улице идет,
поэма приближается к концу,
читатель рад, я вижу по лицу.
А, наплевать. Я столько говорил,
прикидывался, умничал, острил
и добавлял искусственно огня...
Но кто-то пишет далее меня.
Вот пешеход по городу кружит,
и снегопад вдоль окон мельтешит,
читатель мой, как заболтались мы,
глядишь — и не заметили зимы.
Пустеть домам, и улицам пустеть,
деревьям, не успевшим облететь,
теперь дрожать, чернеть на холоду,
страдать у перекрестков на виду;
а мы уже торопимся, живем
при полумраке, полумрак жуем,
не отличая полночь от зари,
и целый день не гаснут фонари,
и солнце багровеет в небесах,
и все, кто мог, уехали давно.
По вечерам мы ломимся в кино,
но выходя — мы снова в лапах вьюг.
И птицы унеслись на юг,
и голоса их в Грузии слышны;
одни вороны северу верны,
и в парках, на бульварах городских
теперь мы замечаем только их,
и снова отражается в глазах
их каркающий крестик в небесах,
и снежный город холоден и чист,
как флейты Крысолова свист.
Вот пешеход по городу кружит,
в простом плаще от холода дрожит,
зажав листок в комочек кулака,
он ищет адрес. Он издалека.
Пойдем за ним. Он не заметит нас,

он близорук, а нынче поздний час,
а если спросит — как-то объясним.
Друзья мои, отправимся за ним.
Кого он ищет в городе моем.
Теперь на снежной улочке вдвоем
остались мы. Быть может, подойти.
Но нет. Там постовые впереди.
Так кто же он, бездомный сей юнец.
Кто хочет, тот послушает конец!
Из Гаммельна до Питера гонец
в полвека не домчится, Боже мой,
в дороге обзаводится семьей
и умирает в полпути, друзья!
В Россию приезжают СЫНОВЬЯ.

39. Романс для КРЫСОЛОВА и ХОРА

Шум шагов,
шум шагов,
бой часов,
снег летит,
снег летит
на карниз.
Если слы-
шишь приглу-
шенный зов,
то спускай-
ся по ле-
стнице вниз.
Город спит,
город спит,
спят дворцы,
снег летит
вдоль ночных
фо-нарей,
город спит,
город спит,
спят отцы,
обхватив
животы
матерей.
В этот час,
в этот час,
в этот миг
над карни-
зами кру-
жится снег,
в этот час
мы ухо-
дим от них,
в этот час
мы ухо-

дим навек.
Нас ведет КРЫСОЛОВ! КРЫСОЛОВ!
вдоль па-не-лей и цин-ковых крыш,
и звенит и летит из углов
СВЕТЛЫЙ ХОР ВОЗВРАТИВШИХСЯ КРЫС.
Вечный мальчик,
молодчик,
юнец,
вечный мальчик,
любовник,
дружок,
обер-нись,
огля-нись,
наконец,
как вита-
ет над на-
ми снежок.
За спи-ной
полусвет,
полумрак,
только пят-
нышки, пят-
нышки глаз,
кто б ты ни
был — подлец
иль дурак,
все равно
здесь не вспом-
нят о нас!
Так за флей-
той настой-
чивей мчись,
снег следы
за-метет,
за-несет,
от безумья
забвеньем
лечись!
От забвенья
безумье
спасет.
Так спаси-
бо тебе,
Крысолов,
на чужби-
не отцы
голосят,
так спаси-
бо за слав-
ный улов,

никаких
возвраще-
ний назад.
Как он выглядит — брит или лыс,
наплевать на при-ческу и вид,
но СЧАСТЛИВОЕ ПЕНИЕ КРЫС
как всегда над Россией звенит!
Вот и жизнь,
вот и жизнь
пронеслась,
вот и город
заснежен
и мглист,
только пом-
нишь безум-
ную власть
и безум-
ный уве-
ренный свист.
Так запомни лишь несколько слов:
нас ведет от зари до зари,
нас ведет КРЫСОЛОВ! КРЫСОЛОВ!
нас ведет КРЫСОЛОВ —
повтори.
40. Романс принца ГАМЛЕТА
Как быстро обгоняют нас
возлюбленные наши.
Видит Бог,
но я б так быстро добежать не смог
и до безумья.
Ох, Гораций мой,
мне, кажется, пора домой.
Поля, дома, закат на волоске,
вот Дания моя при ветерке,
Офелия купается в реке.
Я — в Англию.
Мне в Англии НЕ БЫТЬ.
Кого-то своевременно любить,
кого-то своевременно забыть,
кого-то своевременно убить,
и сразу непременная тюрьма —
и спятить своевременно с ума.
Вот Дания. А вот ее король.
Когда-нибудь и мне такая роль...
А впрочем — нет...
Пойду-ка прикурю...
Гораций мой, я в рифму говорю!
Как быстро обгоняют нас
возлюбленные наши.
В час безумья

мне кажется — еще нормален я,
когда давно Офелия моя
лепечет язычком небытия.
Так в час любови, в час безумья —
покинув освещенные дома,
не зная ни безумства, ни любви,
целуете и сходите с ума.
Мне кажется, что сбился мой берет.
Вот кладбище — прекрасный винегрет,
огурчики — налево и направо,
еще внизу,
а сверху мы — приправа.
Не быть иль быть — вопрос прямолинейный
мне задает мой бедный ум, и нервный
все просится ответ: не быть, НЕ БЫТЬ,
кого-то своевременно забыть,
кого-то своевременно любить,
кого-то своевременно... Постой!
Не быть иль быть! — какой-то звук пустой.
Здесь все, как захотелось небесам.
Я, впрочем, говорил об этом сам.
Гораций мой, я верил чудесам,
которые появятся извне.
БЕЗУМИЕ — вот главное во мне.
Позор на Скандинавский мир.
Далёко ль до конца, ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР?
Далёко ль до конца, милорд.
Какого чорта, в самом деле...
41. ЧОРТ!
Новобранцы, новобранцы, новобранцы!
ожидается изысканная драка,
принимайте новоявленного братца,
короля и помазанника из мрака.
Вот я снова перед вами — одинокий,
беспокойный и участливый уродец,
тот же самый черно-белый, длинноногий,
одинокий и рогатый полководец.
Перед веком, перед веком, перед Богом,
перед Господом, глупеющим под старость,
перед боем в этом городе убогом
помолитесь, чтобы что-нибудь осталось.
Все, что брошено, оставлено, забыто,
все, что «больше не воротится обратно»,
возвращается в беспомощную битву,
в удивительную битву за утраты.
Как фонарики, фонарики ручные,
словно лампочки на уличных витринах,
наши страсти, как страдания ночные
этой плоти — и пространства поединок.
Так прислушивайтесь к уличному вою,

возникающему сызнова из детства,
это к мертвому торопится живое,
совершается немыслимое бегство.
Что-то рядом затевается на свете,
это снова раздвигаются кровати,
пробуждаются солдаты после смерти,
просыпаются любовники в объятьях.
И поновой зачинаются младенцы,
и поют перед рассветом саксофоны,
и торопятся, торопятся одеться
новобранцы, новобранцы, солдафоны.
Как вам нравится ваш новый полководец!
Как мне нравится построенный народец,
как мне нравятся покойники и дети,
саксофоны и ударник на рассвете!
Потому что в этом городе убогом,
где отправят нас на похороны века,
кроме страха перед дьяволом и Богом,
существует что-то выше человека.
42
Три месяца мне было что любить,
что помнить, что твердить, что торопить,
что забывать на время. Ничего.
Теперь зима и скоро Рождество,
и мы увидим новую толпу.
Давно пора благодарить судьбу
за зрелища, даруемые нам
не по часам, а иногда по дням,
а иногда — как мне — на месяца.
И вот теперь пишу слова конца,
стучит машинка. Смолкший телефон
и я — мы слышим колокольный звон
на площади моей. Звонит собор.
Из коридора долетает спор,
и я слова последние пишу.
Ни у кого прощенья не прошу
за все дурноты. Головы склоня,
молчат герои. Хватит и с меня.
Стучит машинка. Вот и всё, дружок.
В окно летит ноябрьский снежок,
фонарь висячий на углу кадит,
вечерней службы колокол гудит,
шаги моих прохожих замело.
Стучит машинка. Шествие прошло.
сентябрь, октябрь, ноябрь 1961
Ленинград
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС
Евгению Рейну, с любовью
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада

ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
28 декабря 1961

Я КАК УЛИСС

О. Б.

Зима, зима, я еду по зиме,

куда-нибудь по видимой отчизне,
гони меня, ненастье, по земле,
хотя бы вспять, гони меня по жизни.
Ну, вот Москва и утренний уют
в арбатских переулках парусинных,
и чужаки по-прежнему снуют
в январских освещенных магазинах.
И желтизна разрозненных монет,
и цвет лица криптоновый все чаще,
гони меня, как новый Ганимед
хлебну зимой изгнаннической чаши
и не пойму, откуда и куда
я двигаюсь, как много я теряю
во времени, в дороге повторяя:
ох, Боже мой, какая ерунда.
Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней и сладостней и чище.
Мелькай, мелькай по сторонам, народ,
я двигаюсь, и, кажется отрадно,
что, как Улисс, гоню себя вперед,
но двигаюсь по-прежнему обратно.
Так человека встречного лови
и все тверди в искусственном порыве:
от нынешней до будущей любви
живи добрей, страдай неприхотливей.
Бессмертия у смерти не прошу.
Испуганный, возлюбленный и нищий, —
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней и сладостней и чище.
Как широко на набережных мне,
как холодно и ветрено и вечно,
как облака, блестящие в окне,
надломленны, легки и быстротечны.
И осенью и летом не умру,
не всколыхнется зимняя простынка,
взгляни, любовь, как в розовом углу
горит меж мной и жизнью паутинка.
И что-то, как раздавленный паук,
во мне бежит и странно угасает.
Но выдохи мои и взмахи рук
меж временем и мною повисают.
Да. Времени — о собственной судьбе
кричу все громче голосом печальным.
Да. Говорю о времени себе,
но время мне ответствует молчаньем.
Лети в окне и вздрагивай в огне,
слетай, слетай на фитилечек жадный.
Свисти, река! Звони, звони по мне,

мой Петербург, мой колокол пожарный.
Пусть время обо мне молчит.
Пускай легко рыдает ветер резкий
и над моей могилою еврейской
младая жизнь настойчиво кричит.
196Ц?)
В деревне никто не сходит с ума.
По темным полям здесь приходит труд.
Вдоль круглых деревьев стоят дома,
в которых живут, рожают и мрут.
В деревне крепче сожми виски.
В каждой деревне растет трава.
В этой деревне сквозь шум реки
на круглых деревьях шумит листва.
Господи, Господи, в деревне светло,
и все, что с ума человека свело,
к нему обратится теперь на ты.
Смотри, у деревьев блестят цветы
(к былому мосты), но ведь здесь паром,
как блещет в твоем мозгу велодром,
умолкшей музыки ровный треск
и прямо в зубы кричит, кричит.
Из мертвой чаши глотает трек,
к лицу поднося деревянный щит.
В деревне никто не сходит с ума.
С белой часовни на склоне холма,
с белой часовни, аляповат и суров,
смотрит в поля Иоанн Богослов.
Спускаясь в деревню, посмотришь вниз —
пылит почтальон-велосипедист,
а ниже шумит река,
паром чернеет издалека,
на поезд успеешь наверняка.
А ты не уедешь, здесь денег нет
в такую жизнь покупать билет.
На всю деревню четыре письма.
В деревне никто не сходит с ума.
В пальто у реки посмотри на цветы,
капли дождя заденут лицо,
падают на воду капли воды
и расходятся, как колесо.
196Ц?)
В ТЕМНОТЕ У ОКНА
В темноте у окна,
на краю темноты
полоса полотна
задевает цветы.
И, как моль, из угла
устремляется к ней
взгляд, острей, чем игла,

хлорофилла сильней.
Оба вздрогнут — но пусть:
став движеньем одним,
не угроза, а грусть
устремляется к ним,
и от пут забытья
шорох век возвратит:
далеко до шитья
и до роста в кредит.
Страсть — всегда впереди,
где пространство мельчит.
Сзади прялкой в груди
Ариадна стучит.
И в дыру от иглы,
притупив острие,
льются речки из мглы,
проглотившей ее.
Засвети же свечу
или в лампочке свет.
Темнота по плечу
тем, в ком памяти нет,
кто, к минувшему глух
и к грядущему прост,
устремляет свой дух
в преждевременный рост.
Как земля, как вода
под небесною мглой,
в каждом чувстве всегда
сила жизни с иглой.
И, невольным объят
страхом, вздрогнет, как мышь,
тот, в кого ты свой взгляд
из угла устремишь.
Засвети же свечу
на краю темноты.
Я увидеть хочу
то, что чувствуешь ты
в этом доме ночном,
где скрывает окно,
словно скатерть с пятном
темноты, полотно.
Ставь на скатерть стакан,
чтоб он вдруг не упал,
чтоб сквозь стол-истукан,
словно соль, проступал,
незаметный в окно,
ослепительный Путь —
будто льется вино *
и вздымается грудь.
Ветер, ветер пришел,

шелестит у окна.
Укрывается ствол
за квадрат полотна.
И трепещут цветы
у него позади
на краю темноты,
словно сердце в груди.
Натуральная тьма
наступает опять,
как движенье ума
от метафоры вспять,
и сиянье звезды
на латуни осей
глушит звуки езды
по дистанции всей.
196Ц?)
1962
...Мой голос, торопливый и неясный,
тебя встревожит горечью напрасной,
и над моей ухмылкою усталой
ты склонишься с печалью запоздалой,
и, может быть, забыв про все на свете,
в иной стране — прости! — в ином столетье
ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно,
и я в могиле торопливо вздрогну.
23 января 1962
ПИСЬМО К А. Д.
Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова,
все равно я пишу, но как странно писать тебе снова,
но как странно опять совершать повторенье прощанья,
добрый вечер. Как странно вторгаться в молчанье.
Все равно ты не слышишь, как опять здесь весна нарастает,
как чугунная птица с тех же самых деревьев слетает,
как свистят фонари, где в ночи ты одна проходила,
распускается день — там, где ты в одиночку любила.
Я опять прохожу в том же светлом раю, где ты долго болела,
где в шестом этаже в этой бедной любви одиноко смелела,
там, где вновь на мосту собираются красной гурьбою
те трамваи, что всю твою жизнь торопливо неслись за тобою.
Боже мой! Все равно, все равно за тобой не угнаться,
все равно никогда, все равно никогда не подняться
над отчизной твоей, но дано увидать на прощанье,
над отчизной своей ты летишь в самолете молчанья.
Добрый путь, добрый путь, возвращайся с деньгами и славой.
Добрый путь, добрый путь, о, как ты далека, Боже правый!
О куда ты спешишь, по бескрайней земле пробегая,
как здесь нету тебя! Ты как будто мертва, дорогая.
В этой новой стране непорочный асфальт под ногою,
твои руки и грудь — ты становишься смело другою,
в этой новой стране, там, где ты обнимаешь и дышишь,

говоришь в микрофон, но на свете кого-то не слышишь.
Сохраняют вой лик, устремленный на миг в безнадежность, —
безразличный тебе — за твою уходящую нежность,
за твою одинокость, за слепую твою однодумность,
за смятенье твое, за твою молчаливую юность.
Все, что ты обгоняешь, отстраняешь, проносишься мимо,
все, что было и есть, все, что будет тобою гонимо, —
ночью, днем ли, зимою ли, летом, весною
и в осенних полях, — это все остается со мною.
Принимаю твой дар, твой безвольный, бездумный подарок,
грех отмытый, чтоб жизнь распахнулась, как тысяча арок,
а быть может, сигнал — дружелюбный —
о прожитой жизни,
чтоб не сбиться с пути на твоей невредимой отчизне.
До свиданья! Прощай! там не ты — это кто-то другая.
До свиданья, прощай! До свиданья, моя дорогая.
Отлетай, отплывай самолетом молчанья —
в пространстве мгновенья,
кораблем забыванья — в широкое море забвенья.
27 января 1962
Уже три месяца подряд
под снегопад с аэродрома
ты едешь в черный Петроград,
и все вокруг тебе знакомо.
И все жива в тебе Москва,
и все мерещится поспешно
замоскворецкая трава,
замоскворецкие скворешни.
Летит автобус в декабре,
но все, по-прежнему печальный,
стоит в обшарпанном дворе
мой брат, мой родственник недальний,
и трубный голос слышу я
и, как приказу, повинуюсь.
— Прошла ли молодость твоя.
Прошла, прошла. Я не волнуюсь.
Отъездом в дальние края,
отлетом в близкую отчизну
трехчасового забытья
предвижу медленную тризну
и повторяю: не забудь.
Пускай не преданность, а верность
храни в себе кому-нибудь
и новой родины поверхность
под освещением косым
люби, куда б ни закатился,
и вспоминай ее, как сын,
который с братьями простился.
январь 1962
Я обнял эти плечи и взглянул

на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.
2 февраля 1962
Прошел сквозь монастырский сад,
в пролом просунулся, согнулся,
к воде спустился и назад
нетерпеливо оглянулся.
С пяти блестящих куполов
сквозь облетевшие деревья
был виден травяной покров
и взмах коричневого гребня
крыш монастырских, и кольцом
заводов хор многоголосый,
и там внизу, к стене лицом,
маячил гость рыжеволосый.
Оставив всякий путь назад,
оставшимся путям — на зависть,
спиной к воде, смотрел в тот сад,
молчал, на купола уставясь.
Настолько зная в этом толк,
чтоб возвращеньем не пленяться,
подумал все-таки, что долг
на эту высоту подняться
и все увидеть: от начал
до берега, где волны бьются.
Но если что и различал,
то значило: «нельзя вернуться».
И все покрылось пеленой
и погрузилось в сумрак полный.
И то, что было за спиной,
он пред собой увидел, — волны.
21—25 апреля 1962
ЗОФЬЯ
(Поэма)
Глава первая
В сочельник я был зван на пироги.
За окнами описывал круги

сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
я к форточке прижался головой:
за окнами маячил постовой.
Трамваи дребезжали в темноту,
вагоны громыхали на мосту,
постукивали льдины о быки,
шуршанье доносилось от реки,
на перекрестке пьяница возник,
еще плотней я к форточке приник.
Дул ветер, развевался снегопад,
маячили в сугробе шесть лопат.
Блестела незамерзшая вода,
прекрасно индевели провода.
Поскрипывал бревенчатый настил.
На перекрестке пьяница застыл.
Все тени за окном учетверя,
качалось отраженье фонаря
у пьяницы как раз над головой.
От будки отделился постовой
и двинулся вдоль стенки до угла,
а тень в другую сторону пошла.
Трамваи дребезжали в темноту,
подрагивали бревна на мосту,
шуршанье доносилось от реки,
мелькали в полутьме грузовики,
такси неслось вдали во весь опор,
мерцал на перекрестке светофор.
Дул ветер, возникавшая метель
подхватывала синюю шинель.
На перекрестке пьяница икал.
Фонарь качался, тень его искал.
Но тень его запряталась в бельё.
Возможно, вовсе не было ее.
Тот крался осторожно у стены,
ничто не нарушало тишины,
а тень его спешила от него,
он крался и боялся одного,
чтоб пьяница не бросился бегом.
Он думал в это время о другом.
Дул ветер, и раскачивался куст,
был снегопад медлителен и густ.
Под снежною завесою сплошной
стоял он, окруженный белизной.
Шел снегопад, и след его исчез,
как будто он явился из небес.
Нельзя было их встречу отвратить,
нельзя было его предупредить,
их трое оказалось. Третий — страх.
Над фонарем раскачивался мрак,

мне чудилось, что близится пурга.
Меж ними оставалось три шага.
Внезапно громко ветер протрубил,
меж ними промелькнул автомобиль,
метнулось белоснежное крыло.
Внезапно мне глаза заволокло,
на перекрестке кто-то крикнул «нет»,
на миг погас и снова вспыхнул свет.
Был перекресток снова тих и пуст,
маячил в полумраке черный куст.
Часы внизу показывали час.
Маячил вдалеке безглавый Спас.
Чернела незамерзшая вода.
Вокруг не видно было ни следа.
Я думаю порой о том, что ночь,
не в силах снегопада превозмочь
и даже ни на четверть, ни на треть,
не в силах сонм теней преодолеть,
который снегопад превозносил,
дает простор для неизвестных сил.
Итак, все было пусто и темно,
еще немного я глядел в окно,
во мраке куст переставал дрожать,
трамваи продолжали дребезжать,
вдали — слегка подрагивал настил.
Я штору потихоньку опустил.
Чуть шелохнулись белые листки.
Мать штопала багровые носки,
отец чинил свой фотоаппарат.
Листал журналы на кровати брат,
а кот на калорифере урчал.
Я галстуки безмолвно изучал.
Царили тишина и полумгла,
ныряла в шерсть блестящая игла,
над ней очки блестели в полумгле,
блестели объективы на столе,
во мраке кот с урчанием дышал,
у зеркала я галстуком шуршал.
Отец чинил свой фотоаппарат,
среди журналов улыбался брат, —
рождественский рассказ о чудесах;
поблескивал за стеклами в часах,
раскачиваясь, бронзовый овал.
У зеркала я галстук надевал.
Мать штопала багровые носки,
блестели календарные листки,
горела лампа в розовом углу,
пятно ее лежало на полу,
из-под стола кошачий взгляд блестел.
У зеркала мой галстук шелестел.

Царила тишина, и кот урчал,
я, в зеркало уставившись, молчал,
дул ветер, завывающий трубой.
И в зеркало внимательно собой,
скользя глазами вверх и вниз,
я молча любовался, как Нарцисс.
Я освещен был только со спины,
черты лица мне были не видны,
белела освещенная рука.
От башмаков и до воротника
глаза движенья стали учащать,
пора мне это было прекращать.
Я задержался в зеркале еще:
блестело освещенное плечо,
я шелковой рубашкой шелестел,
ботинок мой начищенный блестел,
в тени оставшись, чуть мерцал другой,
прекрасен был мой галстук дорогой.
Царили тишина и полумгла.
В каком-то мире двигалась игла,
Бог знает что в журнале брат читал,
отец Бог весть где мыслями витал,
зажав отвертки в розовой руке.
У зеркала стоял я в далеке.
Я думаю, что в зеркале моем
когда-нибудь окажемся втроем
во тьме, среди гнетущей тишины,
откуда-то едва освещены,
я сам и отраженье и тоска —
единственная здесь без двойника.
Бежала стрелка через циферблат,
среди журналов улыбался брат,
издалека к ботинку моему
струился свет, переходя во тьму,
лицо отца маячило в тени,
темнели фотографии родни.
Я, штору отстранив, взглянул в окно:
кружился снег, но не было темно,
кружился над сугробами фонарь,
нетронутый маячил календарь,
маячил вдалеке безглавый Спас,
часы внизу показывали час.
Горела лампа в розовом углу,
и стулья отступали в полумглу,
передо мною мой двойник темнел,
он одевался, голову склоня.
Я поднял взгляд и вдруг остолбенел:
все четверо смотрели на меня.
Отец чинил свой фотоаппарат,
мерцал во тьме неясно циферблат,

брат, лежа на спине, смотрел во мглу,
журнал его валялся на полу,
за окнами творилась кутерьма,
дрожала в абажуре бахрома.
Царили полумрак и тишина,
была на расстоянии слышна
сквозь шерсть носка бегущая игла,
шуршанье доносилось из угла,
мне надоело об одном твердить,
пора мне было в гости уходить.
Я задержался на календаре,
итак, я оказался в январе,
за шторами безмолвствовал фонарь,
молчал передо мною календарь.
Боясь, что год окажется тяжел,
я к выходу из комнаты пошел.
Внезапно что-то стало нарастать,
брат с раскладушки попытался встать,
мать быстро поднялась из-за стола,
и вверх взвилась, упав из рук, игла,
отец схватил свой фотоаппарат,
из-под стола сверкнул кошачий взгляд.
И раздалось скрипение часов,
и лязгнул за спиной моей засов,
я быстро обернулся и застыл:
все в комнате, кому же запирать?
Отец бесшумно штору опустил,
НЕЛЬЗЯ ТЕПЕРЬ ЗАСОВАМ ДОВЕРЯТЬ.
Я пятился, и пятилось окно.
Кот прыгнул в освещенное пятно.
Под потолком, где скапливалась мгла,
сверкала ослепленная игла.
От ужаса я чуть не закричал,
среди журналов мой отец торчал.
Появится ли кто-нибудь меж нас!
Протянется ли что-нибудь из глаз,
похожее на дерево в пыли.
Уста мои разжаться не могли,
в обоях на стене явился мел,
от ужаса я весь окостенел.
Деревья в нашей комнате росли!
ветвями доставая до земли
и также доставая потолка,
вытряхивая пыль из уголка,
но корни их в глазах у нас вились,
вершины в центре комнаты сплелись.
Я вглядывался в комнату трезвей,
все было лишь шуршание ветвей,
ни хвоя, ни листва их не видна,
зима для них была соблюдена,

но ель средь них, по-моему, была,
венчала их блестящая игла.
Два дерева у матери из глаз,
по стольку же у каждого из нас,
но все они различной высоты,
вершины одинаково пусты,
одно иглу имело на конце.
У каждого два дерева в лице.
Все кончилось впотьмах, как началось,
все кончилось, бесшумно улеглось,
и снова воцарилась полумгла,
мелькнула между стульями игла,
я замер в полумраке у окна,
и снова воцарилась тишина.
Игла еще лежала на полу,
брат вздрагивал с журналами в углу,
еще не прояснился циферблат,
отец уже чинил свой аппарат,
засов обратно прыгнул в тишине,
и штора развевалась на окне.
Все кончилось, все быстро улеглось,
вновь каждому занятие нашлось.
Кот сумрачно под лампою лежал,
и свет его прекрасно окружал.
Я штору все пытался разглядеть,
раздумывал: кто мог ее задеть.
Мать молча что-то с пола подняла,
в руках ее опять была игла.
Ладонями провел я по вискам,
игла уже ныряла по носкам,
над ней очки мерцали в полумгле,
блестели объективы на столе.
Дул ветер, и сгущалась темнота,
за окнами гудела пустота,
я вынул из-за форточки вино,
снег бился в ослепленное окно
и издавал какой-то легкий звон,
вдруг зазвонил в прихожей телефон.
И тотчас же, расталкивая тьму,
я бросился стремительно к нему,
забыв, что я кого-то отпустил,
забыв, что кто-то в комнате гостил,
что кто-то за спиной моей вздыхал.
Я трубку снял и тут же услыхал:
— Не будет больше праздников для вас
не будет собутыльников и ваз
не будет вам на родине жилья
не будет поцелуев и белья
не будет именинных пирогов
не будет вам житья от дураков

не будет вам поллюции во сны
не будет вам ни лета ни весны
не будет вам ни хлеба ни питья
не будет вам на родине житья
не будет вам ладони на виски
не будет очищающей тоски
не будет больше дерева из глаз
не будет одиночества для вас
не будет вам страдания и зла
не будет сострадания тепла
не будет вам ни счастья ни беды
не будет вам ни хлеба ни воды
не будет вам рыдания и слез
не будет вам ни памяти ни грез
не будет вам надежного письма
не будет больше прежнего ума.
Со временем утонете во тьме.
Ослепнете. Умрете вы в тюрьме.
Былое оборотится спиной,
подернется реальность пеленой. —
Я трубку опустил на телефон,
но говорил, разъединенный, он.
Я галстук завязал и вышел вон.
Глава вторая
В Сочельник я был зван на пироги.
За окнами описывал круги
сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
трамваи дребезжали вдалеке,
сворачивали мальчики к реке,
подкатывали вороны к сыскной,
карнизы поражали белизной,
витрины будоражили умы,
волнение по правилам зимы
охватывало город в полутьме,
царило возбуждение в уме,
и лампочки ныряли у ворот
в закрытый снегопадом небосвод.
Фургоны отъезжали в темноту,
трамваи дребезжали на мосту,
царило возбужденье и тоска,
шуршала незамерзшая река,
раскачивался лист календаря,
качалось отраженье фонаря,
метались в полумраке на стене
окно и снегопад наедине.
Качался над сугробами забор,
раскачивался в сумраке собор,
внутри его подрагивал придел,
раскачивался колокол, гудел,

подрагивали стрелки на часах,
раскачивался Бог на небесах.
Раскачивалась штора у плеча,
за окнами двуглавая свеча
раскачивалась с чувством торжества,
раскачивался сумрак Рождества,
кто знает, как раскачивать тоску,
чтоб от прикосновения к виску
раскачивалась штора на окне,
раскачивались тени на стене,
чтоб выхваченный лампочками куст
раскачивался маятником чувств
(смятенье — унижение — и месть)
с той разницей, чтоб времени не счесть,
с той разницей, чтоб времени не ждать,
с той разницей, чтоб чувств не передать.
Чтоб чувства передать через него,
не следовало в ночь под Рождество
вторгаться в наступающую мглу
двуглавыми свечами на углу,
бояться поножовщины и драк,
искусственно расталкивая мрак,
не следовало требовать огня.
Вчерашние — для завтрешнего дня.
Все чувства будут до смерти нужны,
все чувства будут вдруг обнажены
в предчувствии убийственных вестей,
как будто в поножовщине страстей
за вами кто-то гонится вослед.
Напрасно вы не выключили свет!
Сомнамбулою уличных огней,
пристанищем, ристалищем теней,
обителью, где царствует сквозняк,
качался офицерский особняк,
так, если кто-то гонится вослед,
неузнанными в блеске эполет,
затерянными в бездне анфилад,
зажавшими в ладонях шоколад,
обнявшими барочные сосцы,
окажутся пехотные юнцы,
останется непролитой их кровь,
останутся их дамы и любовь,
их яблоки, упавшие из ваз, —
предел недосягаемости ваш.
Кто вздрагивал под вывескою «вход»?
Кто вздрагивал в предчувствии невзгод,
предчувствуя безмерную беду,
кто вздрагивал единожды в году,
кто на душу не принял бы греха,
чья светлая душа была глуха,

кто вовремя уменьшил кругозор,
кто вздрагивал, предчувствуя позор?
Насмешка, издевательство и срам:
предел недосягаемости — храм,
пример несокрушимости — орех,
пример недосягаемости — грех,
предел невозмутимости — бокал
среди несокрушимости зеркал.
Кто выживет в прогулках у Невы,
беспечнее, прекраснее, чем вы,
прелестнее, прекраснее одет,
кто вам не оборотится во след
с прекрасною улыбкой, никогда
в чьем сердце не оставите следа,
в чьем взоре промелькнет голубизна,
в чьем взоре распластается Нева,
чье черное пальто и синева
останутся когда-нибудь без нас,
в потемках и в присутствии огней,
не чувствуя присутствия теней?
Не чувствуя ни времени, ни дат,
всеобщим Solitude и Soledad,
прекрасною рукой и головой
нащупывая корень мировой,
нащупывать в снегу и на часах,
прекрасной головою в небесах,
устами и коленями — везде
нащупывать безмерные О, Д —
в безмерной ОДинокости Души,
в ДОму своем и далее — в глуши
нащупывать на рОДине весь гОД?
В неверии — о госпОДи, mein Gott,
выискивать не АД уже, но ДА —
нащупывать свой выхОД в никогДА.
Безмолвно наслаждаясь из угла,
все детство наблюдая зеркала,
предел невозмутимости их — пруд,
безмерно обожая изумруд,
ухмылки изумрудные гостей —
достигнувшими возраста страстей,
почувствуем ли спрятанный в них клАД,
присущий только подлинности хлАД,
вокруг него и около кружа,
доподлинным обличьем дорожа,
доподлинно почувствуешь ли в них,
себя уже стократ переменив,
портьеру или штору теребя,
почувствуешь ли в зеркале себя?
Укрыться за торшерами в углу,
укрыться офицером на балу,

смотреть в апоплексический портрет,
какое наслаждение и бред,
на дюреровской лошади верхом
во тьму на искушение грехом,
сжимая поредевшие виски,
въезжая в Апокалипсис тоски,
оглядываться сызнова назад —
внезапно нарастающий азарт
при виде настигающих теней,
и грохот огнедышащих коней,
и алый меч в разверстых небесах
качается, как маятник в часах.
Я вижу свою душу в зеркала,
душа моя неслыханно мала,
не более бумажного листа, —
душа моя неслыханно чиста,
прекрасная душа моя, Господь,
прелестная не менее, чем плоть,
чем далее, тем более для грез
до девочки ты душу превознес, —
прекрасная, как девочка, душа,
ты так же велика, как хороша, —
как девочке присущий оптимизм,
души моей глухой инфантилизм
всегда со мной в полуночной тиши.
За окнами ни плоти, ни души.
За окнами мерцают фонари.
Душа моя безмолвствует внутри,
безмолвствует смятение в умах,
душа моя безмолвствует впотьмах,
безмолвствует за окнами январь,
безмолвствует на стенке календарь,
безмолвствует во мраке снегопад,
неслыханно безмолвствует распад,
в затылке нарастает перезвон,
безмолвствует окно и телефон,
безмолвствует душа моя, и рот
немотствует, безмолвствует народ,
неслыханно безмолвствует зима,
от жизни и от смерти без ума.
В молчании я слышу голоса.
Безмолвствуют святые небеса,
над родиной свисая свысока.
Юродствует земля без языка.
Лишь свету от небес благодаря
мой век от зарожденья фонаря
до апокалиптических коней
одна жестикуляция теней,
белесые запястия и вен
сиреневый узор, благословен

создавший эту музыку без нот,
безногого оракула немот,
дающего на все один ответ:
молчание и непрерывный свет.
В безмолвии я слышу голоса.
Безмолвствуют земля и небеса.
В безмолвии я слышу легкий гуд,
и тени чувств по воздуху бегут.
Вопросы устремленные, как лес,
в прекрасное молчание небес,
как греза о заколотых тельцах,
теснятся в неприкаянных сердцах.
Едва ли взбудоражишь пустоту
молитвой, приуроченной к посту,
прекрасным возвращеньем в отчий дом
и маркой на конвертике пустом,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.
Как будто это ложь, а это труд,
как будто это жизнь, а это блуд,
как будто это грязь, а это кровь,
не грех — но это странная любовь.
Не чудо, но мечта о чудесах,
не праведник, а все ж поторопись
мелькнуть и потеряться в небесах
открыткой в посполитый парадиз,
как будто это ниточкг и связь,
как будто, над собою не смеясь,
твердишь себе: вот Бог, а вот порог,
как будто это ты, а это Бог,
как будто век жужжит в его руке,
а жизнь твоя, как Ио, вдалеке.
Чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
укрыли блудных сыновей и дочь
прекрасную и, адрес изменив,
чтоб чувства не усиливали миф,
не следовало в ночь под Рождество
выскакивать из дома своего,
бояться поножовщины и драк,
выскакивать от ужаса во мрак,
не следовало в панике большой
спасаться от погони за душой,
не следовало верить в чудеса,
вопросам устремляться в небеса,
не следовало письма вам писать,
не следовало плоть свою спасать.
Но в ночь под Рождество не повторять
о том, что можно много потерять,
что этого нельзя предотвратить,
чтоб* жизнь свою в корову обратить.

Как будто ты ужален и ослеп,
за белою коровой вьется вслед
жужжащая небесная оса,
безмолвствуют святые небеса,
напрасно ты, безмолвствуя, бежал
ужасного, но лучшего из жал,
напрасно ты не чувствуешь одно:
стрАДаний Одинаково ДАно,
стрАДанье и забвение — труха,
стрАДание не стоило греха.
Почувствуешь ли в панике большой
бессмертную погоню за душой,
погоню, чтобы времени не ждать,
с той выгодой, чтоб чувства передать
в мгновение, схватившее виски,
в твой век по мановению тоски,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.
Предчувствуешь все это в снегопад
в подъезде, петроградский телепат,
и чувства распростертые смешны,
шпагатом от войны и до войны,
он шепчет, огибая Летний сад:
немыслимый мой польский адресат.
Любовь твоя — воспитанница фей,
возлюбленный твой — нынешний Орфей,
и образ твой — фотографа момент,
твой голос — отдаленный диксиленд.
Прогулки в ботаническом саду,
возлюбленного пение в аду,
возлюбленного пение сквозь сон, —
два голоса, звучащих в унисон,
органный замирающий свинец,
венчальные цветы, всему венец,
душа твоя прекрасна и тиха,
душа твоя не ведает греха,
душа твоя по-прежнему в пути,
по-прежнему с любовью во плоти.
Ничто твоей души не сокрушит.
Запомни, что душа твоя грешит!
Душа твоя неслыханно больна.
Запомни, что душа твоя одна.
От свадебного поезда конец
души твоей неслыханный венец,
души твоей венчальные цветы,
блестящие терновые кусты.
Душа твоя грехи тебе простит,
душа тебя до девочки взрастит,
душа твоя смоковницу сожжет,
душа твоя обнимет и солжет,

душа твоя тебя превознесет,
от Страшного Суда душа спасет!
Чье пение за окнами звучит?
Возлюбленный за окнами кричит.
Душа его вослед за ним парит.
Душа его обратно водворит.
Как странно ты впоследствии глядишь.
Действительно, ты странствуешь весь день,
душа твоя вослед тебе, как тень,
по комнате витает, если спишь,
душа твоя впоследствии как мышь.
Впоследствии ты сызнова пловец,
впоследствии «таинственный певец» —
душа твоя не верит в чепуху, —
впоследствии ты странник наверху.
Так, девочкой пожертвовать решась,
любовь твоя, души твоей страшась,
под черными деревьями дрожит,
совсем тебя впоследствии бежит.
На улице за окнами рябя,
там что-то убегает от тебя,
ты смотришь на заржавленный карниз,
ты смотришь не на улицу, а вниз,
ты смотришь из окна любви вослед,
ты видишь сам себя автопортрет,
ты видишь диабаз и/черный куст,
ты видишь это дерево и ад,
в сей графике никто не виноват.
Кто плотью защищен, как решетом,
за собственной душой как за щитом,
прекрасной задушевностью дыши
за выпуклым щитом своей души.
Вся жизнь твоя, минувшая как сон:
два голоса, звучавших в унисон,
деревьев развевающихся шум,
прекрасными страданьями твой ум
наполненный, как зернами гранат,
впоследствии прекрасный аргонавт,
впоследствии ты царствуешь в умах,
запомни, что ты царствуешь впотьмах,
однако же все время на виду,
запомни, что жена твоя в аду.
Уж лучше без глупца, чем без вруна,
уж лучше без певца, чем без руна,
ты видишь
небеса и тени

чувств,
уж лучше грешным быть, чем грешным слыть,
уж легче утонуть, чем дальше плыть.

Но участи пловца или певца
уж лучше — положиться на гребца.
Твой взор блуждает сумрачен и дик,
доносится до слуха Эвридик
возлюбленного пение сквозь ад,
вокруг него безмолвие и смрад,
вокруг него одни его уста,
вокруг него во мраке пустота,
во мраке с черным деревом в глазу
возлюбленного пение внизу.
Какая наступает тишина
в прекрасном обрамлении окна,
когда впотьмах, недвижимый весь век,
как маятник, качнется человек,
и в тот же час, снаружи и внутри,
возникнет свет, внезапный для зари,
и ровный звон над копьями оград,
как будто это новый циферблат
вторгается, как будто не спеша
над плотью воцаряется душа,
и алый свет, явившийся извне,
внезапно воцаряется в окне,
внезапно растворяется окно,
как будто оживает полотно.
Так шествовал Орфей и пел Христос.
Так странно вам кощунствовать пришлось,
впоследствии нимало не стыдясь.
Прекрасная раскачивалась связь,
раскачивалась, истово гремя,
цепочка между этими двумя.
Так шествовал Христос и пел Орфей,
любовь твоя, воспитанница фей,
от ужаса крича, бежала в степь,
впотьмах над ней раскачивалась цепь,
как будто циферблат и телефон,
впотьмах над ней раскачивался звон,
раскачивался бронзовый овал,
раскачивался смертный идеал.
Раскачивался маятник в холмах,
раскачивася в полдень и впотьмах,
раскачивался девочкой в окне,
раскачивался мальчиком во сне,
раскачивался чувством и кустом,
раскачивался в городе пустом,
раскачивался деревом в глазу,
раскачивался здесь и там, внизу,
раскачивался с девочкой в руках,
раскачивался крик в обиняках,
раскачивался тенью на стене,
раскачивался в чреве и вовне,

раскачивался, вечером бледнел,
при этом оглушительно звенел.
Ты, маятник, душа твоя чиста,
ты маятник от яслей до креста,
как маятник, как маятник другой,
как маятник рука твоя с деньгой,
ты маятник, отсчитывая пядь
от Лазаря к смоковнице и вспять,
как маятник от злости и любви,
ты движешься как маятник в крови.
Ты маятник, страданья нипочем,
ты маятник во мраке ни при чем,
ты маятник и маятнику брат,
твоя душа прекрасный циферблат,
как маятник, чтоб ты не забывал,
лицо твое, как маятник, овал.
Как маятник, то умник, то дурак,
ты маятник от света и во мрак
за окнами, как маятник, рябя, —
зачатие, как маятник, тебя.
Ты маятник, как маятник я сам,
ты маятник по дням и по часам,
как маятник, прости меня, Господь,
как маятник душа твоя и плоть,
ты маятник по каждой голове,
ты маятник — от девочки в траве,
ты маятник внизу и наверху,
ты маятник страданью и греху,
ты маятник от уличных теней
до апокалиптических коней.
КРИК:
Я маятник. Не трогайте меня.
Я маятник для завтрашнего дня.
За будущие страсти не дрожу,
я сам себя о них предупрежу.
Самих себя увидеть в нищете,
самих себя увидеть на щите,
заметить в завсегдатаях больниц
божественная участь единиц.
Признание, награда и венец,
способность предугадывать конец,
достоинство, дарующее власть,
способность, возвышающая страсть,
способность возвышаться невпопад,
как маятник — прекрасный телепат.
Способные висеть на волоске,
способные к обману и тоске,
способные к сношению везде,
способные к опале и звезде,
способные к смешению в крови,

способные к заразе и любви,
напрасно вы не выключили свет,
напрасно вы оставили свой след,
знакомцы ваших тайн не берегут,
за вами ваши чувства побегут.
Что будет поразительней для глаз,
чем чувства, настигающие нас
с намереньем до горла нам достать?
СОВЕТУЮ ВАМ МАЯТНИКОМ СТАТЬ.
апрель 1962

СТАНСЫ ГОРОДУ

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака торопя,
в темноте увидать
мои слезы и жалкое горе.
Пусть меня отпоет
хор воды и небес, и гранит
пусть обнимет меня,
пусть поглотит,
сей шаг вспоминая,
пусть меня отпоет,
пусть меня, беглеца, осенит
белой ночью твоя
неподвижная слава земная.
Все умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
посредине реки,
исступленно борясь с темнотою,
и летящая ночь
эту бедную жизнь обручит
с красотою твоей
и с посмертной моей правотою.
2 июня 1962

М.Б.

Ни тоски, ни любви, ни печали,
ни тревоги, ни боли в груди,
будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.
Оглянись — и увидишь наверно:
в переулке такси тарахтят,
за церковной оградой деревья
над ребенком больным шелестят,
из какой-то неведомой дали
засвистит молодой постовой,
и бессмысленный грохот рояля
поплывет над твоей головой.

Не поймешь, но почувствуешь сразу:
хорошо бы пяти куполам
и пустому теперь диабазу
завещать свою жизнь пополам.
4 июня 1962

ДИАЛОГ

«Там он лежит, на склоне.
Ветер повсюду снует.
В каждой дубовой кроне
сотня ворон поет».
«Где он лежит, не слышу.
Листва шуршит на ветру.
Что ты сказал про крышу,
слов я не разберу».
«В кронах, сказал я, в кронах
темные птицы кричат.
Слетают с небесных тронов
сотни его внучат».
«Но разве он был вороной:
ветер смеется во тьму.
Что ты сказал о коронах,
слов твоих не пойму».
«Прятал свои усилья
он в темноте ночной.
Все, что он сделал: крылья
птице черной одной».
«Ветер мешает мне, ветер.
Уйми его, Боже, уйми.
Что же он делал на свете,
если он был с людьми».
«Листьев задумчивый лепет,
а он лежит не дыша.
Видишь облако в небе,
это его душа».
«Теперь я тебя понимаю:
ушел, улетел он в ночь.
Теперь он лежит, обнимая
корни дубовых рощ».
«Крышу я делаю, крышу
из густой дубовой листвы.
Лежит он озера тише,
ниже всякой травы.
Его я венчаю мглою.
Корона ему под стать».
«Как ему там под землею».
«Так, что уже не встать.
Там он лежит с короной,
там я его забыл».
«Неужто он был вороной».
«Птицей, птицей он был».

6 июня 1962

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕЧАЛЕННЫМ

Не должен быть очень несчастным
и, главное, скрытным...
А. Ахматова

Я ждал автобус в городе Иркутске,
пил воду, замурованную в кране,
глотал позеленевшие закуски
в ночи в аэродромном ресторане.
Я пробуждался от авиагрома
и танцевал под гул радиовальса,
потом катил я по аэродрому
и от земли печально отрывался.
И вот летел над облаком атласным,
себя, как прежде, чувствуя бездомным,
твердил, вися над бездною прекрасной:
все дело в одиночестве бездонном.
Не следует настаивать на жизни
страдальческой из горького упрямства.
Чужбина так же сродственна отчизне,
как тупику соседствует пространство.

6 июня 1962

1

Под вечер он видит, застывши в дверях:
два всадника скачут в окрестных полях,
как будто по кругу, сквозь рощу и гать,
и долго не могут друг друга догнать.
То бросив поводья, поникнув, устав,
то снова в седле возбужденно привстав,
и быстро по светлому склону холма,
то в рощу опять, где сгущается тьма.
Два всадника скачут в вечерней грязи,
не только от дома, от сердца вблизи,
друг друга они окликают, зовут,
небесные рати за рощу плывут.
И так никогда им на свете вдвоем,
сквозь рощу и гать, сквозь пустой водоем,
не ехать в виду станционных постов,
как будто меж ними не сотня кустов!
Вечерние, призраки! — где их следы,
не видеть двойного им всплеска воды,
их вновь возвращает к себе тишина,
он знает из окриков их имена.
По сельской дороге в холодной пыли,
под черными соснами, в комьях земли,
два всадника скачут над бледной рекой,
два всадника скачут: тоска и покой.

2

Пустая дорога под соснами спит,
смолкает за стеклами топот копыт,

я знаю обоих, я знаю давно:
так сердце стучит, как им мчаться дано.
Так сердце стучит: за ударом удар,
с полей наплывает холодный угар,
и волны сверкают в прибрежных кустах,
и громко играет любимый состав.
Растаял их топот, а сердце стучит!
Нисходит на шепот, но все ж не молчит,
и, значит, они продолжают скакать!
Способны умолкнуть, не могут — смолкать.
Два всадника мчатся в полночную мглу,
один за другим, пригибаясь к седлу,
по рощам и рекам, по черным лесам,
туда, где удастся им взмыть к небесам.

3

Июльскою ночью в поселке темно.
Летит мошкара в золотое окно.
Горячий приемник звенит на полу,
и смелый Гиллеспи подходит к столу.
От черной печали до твердой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы,
от лирики друга до счастья врага
на свете прекрасном всего два шага.
Я жизни своей не люблю, не боюсь,
я с веком своим ни за что не борюсь.
Пускай что угодно вокруг говорят,
меня беспокоят, его веселят.
У каждой околицы этой страны,
на каждой ступеньке, у каждой стены,
в недальнее время, брюнет иль блондин,
появится дух мой, в двух лицах един.
И просто за смертью, на первых порах,
хотя бы вот так, как развеянный прах,
потомка застав над бумагой с утра,
хоть пылью коснусь дорогого пера.

4

Два всадника скачут в пространстве ночном,
кустарник распался в тумане речном,
то дальше, то ближе, за юной тоской
несется во мраке прекрасный покой.
Два всадника скачут, их тени парят.
Над сельской дорогой все звезды горят.
Копыта стучат по заснувшей земле.
Мужчина и женщина едут во мгле.

7—9 июня 1962

Был черный небосвод светлей тех ног
и слиться с темнотою он не мог.
В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня.
Не помню я чернее ничего.

Как уголь были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота.
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит.
Пугала чернота его копыт.
Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди,
как место между ребрами в груди.
Как ямка под землею, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.
Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.
Как будто он был чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал?
Зачем во тьме он сучьями шуршал?
Зачем струил он черный свет из глаз?
Он всадника искал себе средь нас.
28 июня 1962

А. А. Ахматовой

Закричат и захлопочут петухи,
загрохочут по проспекту сапоги,
засверкает лошадиный изумруд,
в одночасье современники умрут.
Запоет над переулком флажолет,
захохочет над каналом пистолет,
загремит на подоконнике стекло,
станет в комнате особенно светло.
И помчатся, задевая за кусты,
невредимые солдаты духоты
вдоль подстриженных по-новому аллей,
словно тени яйцевидных кораблей.
Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным светом залитой,
на вопросы и проклятия в ответ
обволакивая паром этот свет.
Но на Марсовое поле дотемна

Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно без поклонников, без нас.
Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.
Вы поднимете прекрасное лицо —
громкий смех, как поминальное словцо,
звук неясный на нагревшемся мосту —
на мгновенье взбудоражит пустоту.
Я не видел, не увижу Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревам,
по отечеству без памятника Вам.
В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.
Вы промолвите тогда: «О, мой Господь!
этот воздух загустевший — только плоть
душ, оставивших призвание свое,
а не новое творение Твое!»
июнь 1962

ДОРОГОМУ Д. Б.

Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе.
Улыбаясь сейчас широко каждый собственной музе.
Тополя и фонтан, соболезнуя вам, рукоплещут,
в теплой комнате сна в двух углах ваши лиры трепещут.
Одинокому мне это все интересно и больно.
От громадной тоски, чтобы вдруг не заплакать невольно,
к молодым небесам за стеклом я глаза поднимаю,
на диване родном вашей песне печальной внимаю.
От фонтана бегут золотистые фавны и нимфы,
все святые страны предлагают вам взять свои нимбы,
золотистые лиры наполняют аккордами зданье
и согласно звучат, повествуя о вашем страданье.
Это значит, весь мир — он от ваших страстей не зависит,
но и бедная жизнь вашей бедной любви не превысит.
Эта ваша печаль — дорогая слоновая башня:
исчезает одна, нарождается новая басня.
Несравненная правда дорогими глаголет устами.
И все. громче они ударяют по струнам перстами.
В костяное окно понеслась обоюдная мука
к небесам и в Аид — вверх и вниз, по теории звука.
Создавая свой мир, окружаем стеною и рвами
для защиты его. Оттого и пространство меж вами,
что, для блага союза, начиная его разрушенье,
вы себя на стене сознаете все время мишенью.
18 июля 1962

На вас не поднимается рука.
И я едва ль осмелюсь говорить,
каким еще понятием греха
сумею этот сумрак озарить.
Но с каждым днем все более, вдвойне,
во всем себя уверенно виня,
беру любовь, затем что в той стране
вы, знаю, отвернетесь от меня.
14 августа 1962
Z.K
Пограничной водой наливается куст,
и трава прикордонная жжется.
И боится солдат святотатственных чувств,
и поэт этих чувств бережется.
Над холодной водой автоматчик притих,
и душа не кричит во весь голос.
Лишь во славу бессилия этих двоих
завывает осенняя голость.
Да в тени междуцарствий елозят кусты
и в соседнюю рвутся державу.
И с полей мазовецких журавли темноты
непрерывно летят на Варшаву.
10 октября 1962
Я шел сквозь рощу, думая о том,
что сосны остаются за плечами,
должно быть, так, как листья под кустом:
гниют и растворяются ночами.
Что существует то, что впереди;
как например бетон, который залит
в песок, с автомобилем на груди,
где ждут меня, но что-то не сигналят.
Я быстро шел среди вечерней мглы,
мой шаг шуршал, но все кругом уснуло.
Я задевал ладонью за стволы,
и пару раз меж них шоссе мелькнуло.
Я полчаса тропинки расплетал,
потом солдатским шагом расторопным
я на бугор взбежал и увидал:
шоссе пустынным было и неровным.
Но небо, подгибая провода,
не то сливалось с ним, не то касалось.
Я молча оглянулся, и тогда
совсем другой мне роща показалась.
20 октября 1962
Все чуждо в доме новому жильцу.
Поспешный взгляд скользит по всем предметам,
чьи тени так пришельцу не к лицу,
что сами слишком мучаются этим.
Но дом не хочет больше пустовать.
И, как бы за нехваткой той отваги,

замок, не в состояньи узнавать,
один сопротивляется во мраке.
Да. Сходства нет меж нынешним и тем,
кто внес сюда шкафы и стол и думал,
что больше не покинет этих стен;
но должен был уйти, ушел и умер.
Ничем уж их нельзя соединить:
чертой лица, характером, надломом.
Но между ними существует нить,
обычно именуемая домом.
октябрь 1962
Эстонские деревья озабоченно
удерживают тусклые листы.
Эстонскою латынью у обочины
надписаны могильные кресты.
И облако седое, кропотливое
клубится и охватывает лес.
И чувство возникает сиротливое
к минувшему и будущему здесь.
Былое упоительней грядущего.
И прожитым уверенней дышу.
Ни облика, ни голоса петушьего
теперь уже в себе не нахожу.
И встреча со знакомым впечатлением,
когда я оборачиваюсь вспять,
так радостна, что вместе с удивлением
теряется желанье удивлять.
Ни ревности к грядущему, ни робости.
Лишь новым соответствием души —
рожок междугородного автобуса,
рыдающий в заоблачной тиши.
1 ноября 1962
Пирита
Откуда к нам пришла зима,
не знаешь ты, никто не знает.
Умолкло все. Она сама
холодных губ не разжимает.
Она молчит. Внезапно, вдруг
упорства ты ее не сломишь.
Вот оттого-то каждый звук
зимою ты так жадно ловишь.
Шуршанье ветра о стволы,
шуршанье крыш под облаками,
потом, как сгнившие полы,
скрипящий снег под башмаками,
а после скрип и стук лопат,
и тусклый дым, и гул рассвета...
Но даже тихий снегопад,
откуда он, не даст ответа.
И ты, входя в свой теплый дом,

взбежав к себе, скажи на милость,
не думал ты хоть раз о том,
что где-то здесь она таилась:
в пролете лестничном, в стене,
меж кирпичей, внизу под складом,
а может быть, в реке, на дне,
куда нельзя проникнуть взглядом.
Быть может, там, в ночных дворах,
на чердаках и в пыльных люстрах,
в забитых досками дверях,
в сырых подвалах, в наших чувствах,
в кладовках тех, где свален хлам...
Но видно, ей там тесно было,
она росла по всем углам
и всё заполонила.
Должно быть, это просто вздор,
скопленье дум и слов неясных,
она пришла, должно быть, с гор,
спустилась к нам с вершин прекрасных:
там вечный лед, там вечный снег,
там вечный вех ер скалы гложет,
туда не всходит человек,
и сам орел взлететь не может.
Должно быть. так. Не все ль равно,
когда поднять ты должен ворот,
но разве это не одно:
в пролете тень и вечный холод?
Меж ними есть союз и связь
и сходство — пусть совсем немое.
Сойдясь вдвоем, соединясь,
им очень просто стать зимою.
Дела, не знавшие родства,
и облака в небесной сини,
предметы все и вещества
и чувства, разные по силе,
стихии жара и воды,
увлекшись внутренней игрою,
дают со временем плоды,
совсем нежданные порою.
Бывает лед сильней огня,
зима — порой длиннее лета,
бывает ночь длиннее дня
и тьма вдвойне сильнее света;
бывает сад громаден, густ,
а вот плодов совсем не снимешь...
Так берегись холодных чувств,
не то, смотри, застынешь.
И люди все, и все дома,
где есть тепло покуда,
произнесут: пришла зима.

Но не поймут откуда.
ноябрь 1962

СОНЕТ

Г. П.

Мы снова проживаем у залива,
и проплывают облака над нами,
и современный тарахтит Везувий,
и оседает пыль по переулкам,
и стекла переулков дребезжат.
Когда-нибудь и нас засыпет пепел.
Так я хотел бы в этот бедный час
приехать на окраину в трамвае,
войти в твой дом,
и если через сотни лет
придет отряд раскапывать наш город,
то я хотел бы, чтоб меня нашли
оставшимся навек в твоих объятьях,
засыпанного новою золой.
ноябрь 1962

Топилась печь. Огонь дрожал во тьме.
Древесные угли чуть-чуть искрились.
Но мысли о зиме, о всей зиме,
каким-то странным образом роились.
Какой печалью надо обладать,
чтоб, вместо парка, что за три квартала,
пейзаж неясный долго вспоминать,
но знать, что больше нет его; не стало.
Да, понимать, что все пришло к концу
тому назад едва ль не за два века, —
но мыслями блуждать в ночном лесу
и все не слышать стука дровосека.
Стоят стволы, стоят кусты в ночи.
Вдали холмы лежат во тьме угрюмо.
Луна горит, как весь огонь в печи,
и жжет стволы. Но только нет в ней шума.
ноябрь 1962

А. А. А.

1

Когда подойдет к изголовью
смотритель приспущенных век,
я вспомню запачканный кровью,
укатанный лыжами снег,
платформу в снегу под часами,
вагоны — зеленым пятном
и длинные финские сани
в сугробах под Вашим окном,
заборы, кустарники, стены
и оспинки гипсовых ваз,
и сосны — для Вас уже тени,
недолго деревья для нас.

2 (явление стиха)
Не жаждал являться до срока,
он медленно шел по земле,
он просто пришел издалека
и молча лежит на столе.
Потом он звучит безучастно
и тает потом на лету.
И вот, как тропинка с участка,
выводит меня в темноту.
1962

М. Б.

Мир одеял разрушен сном.
Но в чьем-то напряженном взоре
маячит в сумраке ночном
окном разрезанное море.
Две лодки обнажают дно,
смыкаясь в этом с парой туфель.
Вздымающееся полотно
и волны выражают дупель.
Подушку обхватив, рука
сползает по столбам отвесным,
вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.
Два моря с помощью стены,
при помощи неясной мысли,
здесь как-то так разделены,
что сети в темноте повисли
пустыми в этой глубине,
но всё же ожидают всплытья
от пущенной сквозь крест в окне,
связующей их обе, нити.
Звезда желтеет на волне,
маячат неподвижно лодки.
Лишь крест вращается в окне
подобием простой лебедки.
К поверхности из двух пустот
два невода ползут отвесно,
надеясь: крест перенесет
и спустит их в другое место.
Так тихо, так не слышно слов,
что кажется окну пустому:
надежда на большой улов
сильней, чем неподвижность дома.
И вот уж в темноте ночной
окну с его сияньем лунным
две грядки кажутся волной,

а куст перед крыльцом — буруном.
Но дом недвижен, и забор
во тьму ныряет поплавками,
и воткнутый в крыльцо топор
один следит за топляками.
Часы стрекочут. Вдалеке
ворчаньем заглушает катер
как давит устрицы в песке
ногой бесплотный наблюдатель.
Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собою наподобье створок.
Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья?
Как долго? До утра? Едва ль.
И ветер шелестит в попытке
жасминовую снять вуаль
с открытого лица калитки.
Сеть выбрана. В кустах удод
свистком предупреждает кражу.
И молча замирает тот,
кто бродит в темноте по пляжу.
1962
Затем, чтоб пустым разговорцем
развеять тоску и беду,
я странную жизнь стихотворца
прекрасно на свете веду.
Затем, чтоб за криком прощальным
лицо возникало в окне,
чтоб думать с улыбкой печальной,
что выпадет, может быть, мне,
как в самом начале земного
движенья — с мечтой о творце —
такое же ясное слово
поставить в недальнем конце.
1962
КРИК В ШЕРЕМЕТЬЕВО
И.Е.
Что ты плачешь,
распростясь с паровозом.
Что ты слушаешь гудки
поездные.
Поклонись аэродромным березам,
голубиному прогрессу России.
Что ты смотришь все с печалью угрюмой
на платочек ее новый,
кумашный.

Поклонись этой девочке юной,
этой девочке, веселой и страшной.
Что ей стоит нас любить и лелеять.
Что ей стоит поберечь нас немного.
Кто ей, сильной,
заперечить посмеет.
Только ждет она кого-то другого!
Ничего!
Ей не грозит перестарок.
Не гожусь ей в сыновья,
а уж рад бы...
Посылаю ей все слезы в подарок,
потому что не дожить мне до свадьбы.
1962

А. Н.

Мы вышли с почты прямо на канал,
который начал с облаком сливаться
и сверху букву «п» напоминал.
И здесь мы с ним решили расставаться.
Мы попрощались. Мелко семеня,
он уходил вечернею порою.
Он быстро уменьшался для меня
как будто раньше вчетверо, чем втрое.
Конечно, что-то было впереди.
Что именно — нам было неизвестно.
Для тех, кто ждал его в конце пути,
он так же увеличивался резко.
Настал момент, когда он заслонил
пустой канал с деревьями и почту,
когда он все собой заполонил.
Одновременно превратившись в точку.
1962

Ты, кажется, искал здесь? Не ищи.
Гремит засов у входа неизменный.
Не стоит подбирать сюда ключи.
Не тут хранится этот клад забвенный.
Всего и блеску, что огонь в печи.
Соперничает с цепью драгоценной
цепь ходиков стенных. И, непременный,
горит фонарь под окнами в ночи.
Свет фонаря касается трубы.
И больше ничего здесь от судьбы
действительной, от времени, от века.
И если что предполагает клад,
то сам засов, не выдержавший взгляд
пришедшего с отмычкой человека.
1962

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч
и на звезды глядел,

и в кармане моем заблудившийся ключ
все звенел не у дел,
и по сетке скакал надо мной виноград,
акробат от тоски;
был далек от меня мой родной Ленинград,
и все ближе — пески.
Бессеребряной сталью мерцало крыло,
приближаясь к луне,
и чучмека в папахе рвало, и текло
это под ноги мне.
Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытьи.
Над одною шестой
в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои
двухголовый святой.
Я бежал от судьбы, из-под низких небес,
от распластанных дней,
из квартир, где я умер и где я воскрес
из чужих простыней;
от сжимавших рассудок махровым венцом
откровений, от рук,
припадал я к которым и выпал лицом
из которых на Юг.
Счастье этой земли, что взаправду кругла,
что зрачок не берет
из угла, куда загнан, свободы угла,
но и наоборот:
что в кошачьем мешке у пространства хитро
прогрызаешь дыру,
чтобы слез европейских сушить серебро
на азийском ветру.
Что на свете — верней, на огромной вельми,
на одной из шести —
что мне делать еще, как не. хлопать дверьми
да ключами трясти!
Ибо вправду честней, чем делить наш ничей
круглый мир на двоих,
променять всю безрадостность дней и ночей
на безадресность их.
Дуй же в крылья мои не за совесть и страх,
но за совесть и стыд.
Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах
или Бог пощадит —
всё едино, как сбившийся в строчку петит
смертной памяти для:
мегалополис туч гражданина ль почтит,
отщепенца ль — земля.
Но услышишь, когда не найдешь меня ты
днем при свете огня,
как в Быково на старте грохочут винты:
это — помнят меня

зеркала всех радаров, прожекторов, лик
мой хранящих внутри;
и — внехрамовый хор — из динамика крик
грянет медью: Смотри!
Там летит человек! не грусти! улыбнись!
Он таращится вниз
и сжимает в руке виноградную кисть,
точно бог Дионис.
1962
Огонь, ты слышишь, начал угасать.
А тени по углам — зашевелились.
Уже нельзя в них пальцем указать,
прикрикнуть, чтоб они остановились.
Да, воинство сие не слышит слов.
Построилось в каре, сомкнулось в цепи.
Бесшумно наступает из углов,
и я внезапно оказался в центре.
Всё выше снизу взрывы темноты.
Подобны восклицательному знаку.
Все гуще тьма слетает с высоты,
до подбородка, комкает бумагу.
Теперь исчезли стрелки на часах.
Не только их не видно, но не слышно.
И здесь остался только блик в глазах,
застывших неподвижно. Неподвижно.
Огонь угас. Ты слышишь: он угас.
Горючий дым над потолком витает.
Но этот блик — не покидает глаз.
Вернее, темноты не покидает.
1962
Они вдвоем глядят в соседний сад,
и мысленно в той комнате огромной
уже давно. Но тени их назад
бегут вдвоем по грядке помидорной.
Стоит безмолвно деревянный дом,
но всё в морщинах: стены, дверь, стропила —
как будто повествуют здесь о том,
что сходство между ними наступило.
И в то же время дымную свечу
труба пускает в направленьи взгляда,
вложив сюда всю зависть к кирпичу,
которая плывет через ограду.
Они ж не шелохнутся. Но из глаз
струится ровный свет в чужие розы.
И как прекрасно, что они сейчас
еще не там, совсем не там, где грезы,
что вот они и могут выбирать,
пустой участок предпочесть раките,
и там свою дилемму повторять,
как миф о Филемоне и Бавкиде.

1962

ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.
Предо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.
Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть —
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.
В ярко-красном кашне
и в плаще в подворотнях, в парадных
ты стоишь на виду
на мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу
недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.
Добрый день. Ну и встреча у нас.
До чего ты бесплотна:
рядом новый закат
гонит вдаль огневые полотна.
До чего ты бедна. Столько лет,
а промчались напрасно.
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна.
По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редколесья,
вылетает такси, и осины глядят в поднебесье.
Это наша зима.
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:

это наша зима все не может обратно вернуться.
Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.
Как легко нам дышать,
оттого, что подобно растенью,
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
от того, что мы все потеряем
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.
Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю — с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.
Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолвствует небо героик,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.
Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте
по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.
Кто-то новый царит,
безымянный, прекрасный, всесильный,
над отчизной горит,
разливается свет темно-синий,
и в глазах у борзых
мельтешат фонари — по цветочку,
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.
Значит, зря мы просили прощенья
у своих мертвецов.
Значит, нет для зимы возвращенья.
Остается одно:
по земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать. Обгонять — только это возможно.
То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это все неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.
2QJ
Это — вечная жизнь:
поразительный мост, неумолчное слово,
проплыванье баржи,
оживленье любви, убиванье былого,
пароходов огни
и сиянье витрин, звон трамваев далеких,
плеск холодной воды возле брюк твоих вечноширокиx.
Поздравляю себя
с этой ранней находкой, с тобою,
поздравляю себя
с удивительно горькой судьбою,
с этой вечной рекой,
с этим небом в прекрасных осинах,
с описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов.
Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.
Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь,
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.
Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
сколько дам за стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь —
но уже не вернусь — словно дом запираю,
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая.

ПРИТЧА

«Пусть дым совьется в виде той петли,
которая согнать его сумела
своим кивком с холмов родной земли».
Должно быть, в мщеньи выше нет предела.
Конечно, достигая до небес,
начнет гулять, дымить противоборство.
Не стоит крыш снимать, чтоб видел лес
сей быстрый труд, настойчивость, упорство.
Все в ход пойдет: смола, навоз, трава,
должно быть, в виде той петли разложат
в горящем очаге свои дрова.
Пусть ветер им поможет. Пусть поможет.
Нет, никогда ничья на свете власть
и всех стихий внезапное движенье
не явит ту, что просто родилась
и вот живет в их злом воображеньи.
Лес по краям. Блестящий снег хрустит,
никак не различить теней нерезких,
свидетелей того, как слабый мстит.
И он пошел во тьму с холмов еврейских.

1962

Великий Гектор стрелами убит.
Его душа плывет по темным водам,
шуршат кусты и гаснут облака,
вдали невнятно плачет Андромаха.
Теперь печальным вечером Аякс
бредет в ручье прозрачном по колено,
а жизнь бежит из глаз его раскрытых
за Гектором, а теплая вода
уже по грудь, но мрак переполняет
бездонный взгляд сквозь волны и кустарник,
потом вода опять ему по пояс,
тяжелый меч, подхваченный потоком,
плывет вперед
и увлекает за собой Аякса.

1962

Прошел январь за окнами тюрьмы,
и я услышал пенье заключенных,
звучащее в кирпичном сонме камер:
«Один из наших братьев на свободе».
Еще ты слышишь пенье заключенных
и топот надзирателей безгласных,
еще ты сам поешь, поешь безмолвно:
«Прощай, январь».
Лицом поворотясь к окну,
еще ты пьешь клотками теплый воздух,
а я опять задумчиво бреду
с допроса на допрос по коридору
в ту дальнюю страну, где больше нет

ни января, ни февраля, ни марта.
1962
СОНЕТ
Я снова слышу голос твой тоскливый
на пустырях — сквозь хриплый лай бульдогов,
и след родной ищу в толпе окраин,
и вижу вновь рождественскую хвою
и огоньки, шипящие в сугробах.
Ничто верней твой адрес не укажет,
чем этот крик, блуждающий во мраке
прозрачною, хрустальной каплей яда.
Теперь и я встречаю новый год
на пустыре, в бесшумном хороводе,
и гаснут свечи старые во мне,
а по устам бежит вино Тристана,
я в первый раз на зов не отвечаю.
С недавних пор я вижу и во мраке.
1962
Е.В., А. Д.
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
под затылком снежок,
и услышу я голос:
— до свиданья, дружок.
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
— словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.
1962
2 О <?
Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам,
вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме к треугольным домам,
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну,
освещенный луной и ее замечая одну.
Гулкий топот копыт по застывшим холмам — это

не с чем сравнить,
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить,
там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей,
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей.
Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь впотьмах,
возникая вдали, освещенный луной на бескрайних холмах,
мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых,
воздух бьет по лицу,
говоря сам с собой, растворяется в черном лесу.
Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов, —
не отыщется след,
даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет,
все равно ты его никогда ни за что не сумеешь догнать.
Кто там скачет в холмах... я хочу это знать,
я хочу это знать.
Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю,
одиноким лицом обернувшись к лесному царю, —
обращаюсь к природе от лица треугольных домов:
кто там скачет один, освещенный царицей холмов?
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,
из распахнутых окон бьет прекрасный рояль, разливается свет;
кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле самых небес,
по застывшей траве, мимо черных кустов. Приближается лес.
Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд.
Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте.
Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг небылиц,
ибо сотни холмов — поразительных круп кобылиц,
на которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ,
засыпая, во сне, мы стремительно скачем на юг.
Обращаюсь к природе: это всадники мчатся во тьму,
создавая свой мир по подобию вдруг твоему,
от бобровых запруд, от холодных костров пустырей
до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей.
Все равно — возвращенье... Все равно даже в ритме баллад
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,
даже если Творец на иконах своих не живет и не спит,
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.
Ты, мой лес и вода! кто объедет, а кто, как сквозняк,
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,
кто лежит в темноте на спине в леденящем ручье.
Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь,
потому что не жизнь, а другая какая-то боль
приникает к тебе, и уже не слыхать, как приходит весна;
лишь вершины во тьме непрерывно шумят,
словно маятник сна.
1962

УТРЕННЯЯ ПОЧТА ДЛЯ А. А. АХМАТОВОЙ

ИЗ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

В кустах Финляндии бессмертной,
где сосны царствуют сурово,
я полон радости несметной,
когда залив и Комарово
освещены зарей прекрасной,
осенены листвой беспечной,
любовью Вашей — ежечасной
и Вашей добротою — вечной.

1962

холмы

Вместе они любили
сидеть на склоне холма.
Оттуда видны им были
церковь, сады, тюрьма.
Оттуда они видали
заросший травой водоем.
Сбросив в песок сандалии,
сидели они вдвоем.
Руками обняв колени,
смотрели они в облака.
Внизу у кино калеки
ждали грузовика.
Мерцала на склоне банка
возле кусков кирпича.
Над розовым шпилем банка
ворона вилась, крича.
Машины ехали в центре
к бане по трем мостам.
Колокол звякал в церкви:
электрик венчался там.
А здесь, на холме, было тихо,
ветер их освежал.
Кругом ни свистка, ни крика.
Только комар жужжал.
Трава была там примята,
где сидели они всегда.
Повсюду черные пятна —
оставила их еда.
Коровы всегда это место
вытирали своим языком.
Всем это было известно,
но они не знали о том.
Окурки, спички и вилка
прикрыты были песком.
Чернела вдали бутылка,
отброшенная носком.
Заслышав едва мычанье,
они спускались к кустам
и расходились в молчаньи —

как и сидели там.
О
По разным склонам спускались,
случалось боком ступать.
Кусты перед ними смыкались
и расступались опять.
Скользили в траве ботинки,
меж камней блестела вода.
Один достигал тропинки,
другой в тот же миг пруда.
Был вечер нескольких свадеб
(кажется, было две).
Десяток рубах и платьев
маячил внизу в траве.
Уже закат унимался
и тучи к себе манил.
Пар от земли поднимался,
а колокол все звонил.
Один, кряхтя, спотыкаясь,
другой, сигаретой дымя —
в тот вечер они спускались
по разным склонам холма.
Спускались по разным склонам,
пространство росло меж них.
Но страшный, одновременно,
воздух потряс их крик.
Внезапно кусты распахнулись,
кусты распахнулись вдруг.
Как будто они проснулись,
а сон их был полон мук.
Кусты распахнулись с воем,
как будто раскрылась земля.
Пред каждым возникли двое,
железом в руках шевеля.
Один топором был встречен,
и кровь потекла по часам,
другой от разрыва сердца
умер мгновенно сам.
Убийцы тащили их в рощу
(по рукам их струилась кровь)
и бросили в пруд заросший.
И там они встретились вновь.
О
Еще пробирались на ощупь
к местам за столом женихи,
а страшную весть на площадь
уже принесли пастухи.
Вечерней зарей сияли
стада густых облаков.
Коровы в кустах стояли

и жадно лизали кровь.
Электрик бежал по склону,
и шурин за ним в кустах.
Невеста внизу обозленно
стояла одна в цветах.
Старуха, укрытая пледом,
крутила пред ней тесьму,
а пьяная свадьба следом
за ними неслась к холму.
Сучья под ними трещали,
они неслись, как в бреду.
Коровы в кустах мычали
и быстро спускались к пруду.
И вдруг все увидели ясно
(царила вокруг жара):
чернела в зеленой ряске,
как дверь в темноту, дыра.
о
Кто их оттуда поднимет,
достанет со дна пруда?
Смерть, как вода, над ними,
в желудках у них вода.
Смерть уже в каждом слове,
в стебле, обвившем жердь.
Смерть в зализанной крови,
в каждой корове смерть.
Смерть в погоне напрасной
(будто ищут воров).
Будет отныне красным
млеко этих коров.
В красном, красном вагоне,
с красных, красных путей,
в красном, красном бидоне —
красных поить детей.
Смерть в голосах и взорах.
Смертью полн воротник. —
Так им заплатит город:
смерть тяжела для них.
Нужно поднять их, поднять бы.
Но как превозмочь тоску:
если убийство в день свадьбы,
красным быть молоку.
О
Смерть — не скелет кошмарный
с длинной косой в росе.
Смерть — это тот кустарник,
в котором стоим мы все.
Это не плач похоронный,
а также не черный бант.
Смерть — это крик вороний,

черный — на красный банк.
Смерть — это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть — это все мужчины,
галстуки их висят.
Смерть — это стекла в бане,
в церкви, в домах — подряд!
Смерть — это всё, что с нами, —
ибо они — не узрят.
Смерть — это наши силы,
это наш труд и пот.
Смерть — это наши жилы,
наша душа и плоть.
Мы больше на холм не выйдем.
В наших домах огни.
Это не мы их не видим —
нас не видят они.
О
Розы, герань, гиацинты,
пионы, сирень, ирис —
на страшный их гроб из цинка —
розы, герань, нарцисс,
лилии, словно из басмы,
запах их прян и дик,
левкой, орхидеи, астры,
розы и сноп гвоздик.
Прошу отнести их к брегу,
вверить их небесам.
В реку их бросить, в реку,
она понесет к лесам.
К черным лесным протокам,
к темным лесным домам,
к мертвым полесским топям,
вдаль — к балтийским холмам.
О
Холмы — это наша юность,
гоним ее, не узнав.
Холмы — это сотни улиц.
Холмы — это сонм канав.
Холмы — это боль и гордость.
Холмы — это край земли.
Чем выше на них восходишь,
тем больше их видишь вдали.
Холмы — это наши страданья.
Холмы — это наша любовь.
Холмы — это крик, рыданье,
уходят, приходят вновь.
Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,

все это — в их кустах.
Холмы — это вечная слава.
Ставят всегда напоказ
на наши страданья право.
Холмы — это выше нас.
Всегда видны их вершины,
видны средь кромешной тьмы.
Присно, вчера и ныне
по склону движемся мы.
Смерть — это только равнины.
Жизнь — холмы, холмы.
1962
Не то Вам говорю, не то
твержу с гримасой неуместной.
Рассудок мой что решето,
а не сосуд с водой небесной.
В худую пору взялся я
расписываться в чувстве чистом, —
полна сейчас душа моя
каким-то сором ненавистным.
Простите описанье чувств,
фальшивую и злую ноту,
всю болтовню, но больше — грусть,
за матушку ее — длинноту.
Простите, что разверз сей хлев
пред Вами, Господи, простите.
Как будто, ног не отерев,
я в дом влезал... И не грустите:
ведь я-то помню свой оскал,
а также цену рифмованью,
а также все, что здесь искал
в грошовом самобичеваньи.
О не жалейте Ваших слов
о нас. Вы знаете ли сами,
что неубыточно любовь
делить Вам можно с небесами.
1962(7)
2 1р
Что ветру говорят кусты,
листом бедны?
Их речи, видимо, просты,
но нам темны.
Перекрывая лязг ведра,
скрипящий стул —
«Сегодня ты сильней. Вчера
ты меньше дул».
А ветер им — «Грядет зима!»
«О, не губи».
А может быть — «Схожу с ума
«Люби! Люби!»

И в сумерках колотит дрожь
мой мезонин...
Их диалог не разберешь,
пока один.
1962
Не мы ли здесь, о посмотри,
вон там, окружены песком —
по обе стороны скамьи,
застыв, на берегу морском.
О
Все чудится, что рядом ты.
Все вижу сквозь ненастный вой
вливающийся в цвет воды
колеблющийся локон твой.
О
Как скрученные кем-то в жгут
полотна простыней ночных,
и тучи и валы бегут,
но разные пути у них.
О
Пуст берег, этот край земной,
где каждый деревянный дом
маячит за твоей спиной,
как лодка, что стоит вверх дном.
О
И вот уже как будто страх:
не верится, что дом прирос!
Но, двери распахнув, рыбак
мешает повторить вопрос.
О
А ветер все свистит, крутя
столь жаждущих простых границ,
в сей бредень (или в сеть) дождя
попавшихся прибрежных птиц.
о
Не видно им со стороны —
как спинкою своей скамья
твердит, что мы равны, равны,
что, может быть, и мы семья.
О
Лишь нам здесь — ни сейчас, ни впредь,
уставившись в пустой песок,
знак тождества не разглядеть,
сколоченный из двух досок.
зима 1962—1963
Вдоль темно-желтых квартир
на неизвестный простор
в какой-то сумрачный мир
ведет меня коридор.
И рукав моего пальто

немного в его грязи.
Теперь я вижу лишь то,
что от меня вблизи.
Еще в зеркалах живет
мой неопрятный вид.
Страшное слово «вперед»
губы мои кривит.
Скопище, сонм теней
спускается на тормозах.
Только всего сильней
электрический свет в глазах.
Словно среди тишины
вдруг заглушает крик
власти теней спины
залитый светом лик,
словно в затылке — лед
и пламень во лбу горящ,
и тела всего — перёд
много превосходящ.
Коридор, мой коридор,
закадычный в ранге владык;
залитый светом взор,
залитый тьмой кадык.
Запертый от гостей,
с вечным простясь пером,
в роще своих страстей
я иду с топором.
Так как еще горит
здесь предо мною свет,
взгляд мой еще парит,
минует еще паркет,
по жилам еще бежит
темно-желтая кровь,
и сердце мое дрожит
возле охапки дров.
Так, как в конце весны
звуками полон лес, —
в мире конструкций сны
прежний теряют вес.
Так, впредь былого дыша,
я пред Тобой, Господь,
видимо, весь душа,
да вполовину плоть.
Словно летом в тени
и у любви в конце,
словно в лучшие дни,
пот на моем лице.
Так посреди белья
и у дров на виду
старый и новый я,

Боже, смотри, иду.
Серый на горле шарф,
сзади зеркальный шкаф,
что-то звенит в ушах,
в страшной грязи рукав,
вешалки смотрят вслед,
лампочки светят вдоль.
И если погаснет свет,
зажжет свой фонарик боль.
1962-1963
Черные города,
воображенья грязь.
Сдавленное «когда»,
выплюнутое «вчерась»,
карканье воронка,
камерный айболит,
вдавливанье позвонка
в стираный неолит.
— Вот что нас ждет, дружок,
до скончанья времен,
вот в чем твой сапожок
чавкать приговорен,
так же как мой штиблет,
хоть и не нов на вид.
Гончую этот след
не воодушевит.
Вот оттого нога,
возраст подметки для,
и не спешит в бега,
хоть велика земля.
Так что через плечо
виден беды рельеф,
где белеет еще
лампочка, перегорев.
Впрочем, итог разрух —
с фениксом схожий смрад.
Счастье — суть роскошь двух;
горе — есть демократ.
Что для слезы — впервой,
то — лебеда росе.
Вдохновлены травой,
мы делаемся, как все.
То-то идут домой
вдоль большака столбы —
в этом, дружок, прямой
виден расчет судьбы,
чтобы не только Бог,
ночь сотворивший с днем,
слиться с пейзажем мог
и раствориться в нем.

1962-1963
1963
Значит, и ты уснул.
Должно быть, летя к ручью,
ветер здесь промелькнул,
задув и твою свечу.
Узнав, что смолкла вода,
и сделав над нею круг,
вновь он спешит сюда,
где дым обгоняет дух.
Позволь же, старик, и мне,
средь мертвых финских террас,
звездам в моем окне
сказать, чтоб их свет сейчас,
который блестит окрест,
сошел бы с пустых аллей,
исчез бы из этих мест
и стал бы всего светлей
в кустах, где стоит блондин,
который ловит твой взгляд,
пока ты бредешь один
в потемках... к великим... в рад.
30 января 1963
Комарове
2 29
Деревья окружили пруд,
белеющий средь них, как плешь,
почти уже кольцом, но тут
тропинка пробивает брешь.
В негодованьи на гостей
последняя сосна дрожит.
Но черный ручеек детей
на эту белизну бежит.
Внизу еще свистят, галдят,
вверху — уже царит тоска.
Вершины, кажется, глядят
в отчаяньи на облака.
Должно быть, просят темноты
вечерней, тьмы ночей, —
чтоб эти капельки воды
забрал назад ручей.
январь 1963
БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ
Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,

ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьи, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули стены, арки, окна, всё.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спят. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы
средь рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, грабы, пихта, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисица, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло все. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
Поодиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло все. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт

во сне святыми — к их стыду святому.
Геенна спит, и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все — одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, пуст, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое — слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло все. Спят крепко стопы книг.
Спят реки слов, покрывшись льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.
Уснуло все: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые, их друзья, их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на белом свете.
Но чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос! Тонок, впрямь игла.
А нити нет... И так он одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей?.. Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор

покинуть вдруг? Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет».
Молчанье. Тишь. — «Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»
«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел так же явно светлый Рай
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир — лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд почти совсем не страшен.
И климат там недвижен, в той стране.
Оттуда всё, как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
и только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.

Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё — вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — все станет сном библейским.
Ну вот, я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя прийти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но чу! пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда».
Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас сокрыта тучей.
Подобье птиц, душа его чиста;
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас — лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло все. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь — лишь долг певца,
духовная любовь лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод ни лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди, и выглянет из туч

звезда, что столько лет твой мир хранила.
7 марта 1963
А. А. А.
Блестит залив, и ветр несет
через ограду воздух влажный.
Ночь белая глядит с высот,
как в зеркало, в квадрат бумажный.
Вдвойне темней, чем он, рука
незрима при поспешном взгляде.
Но вот слова, как облака,
несутся по зеркальной глади.
24 июня 1963
ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ
Нет, не посетует Муза,
если напев заурядный,
звук, безразличный для вкуса,
с лиры сорвется нарядной.
Милая, грусти не выдаст,
путая спину и перед,
песню, как платье на вырост,
к слуху пространства примерит.
Правда ведь: как ни вертеться,
искренность, сдержанность, мука,
— нечто, рожденное в сердце,
громче сердечного стука.
С этим залогом успеха
ветер — и тот не поспорит;
дальние горы и эхо
каждое слово повторят.
Вот и певец возвышает
голос — на час, на мгновенье,
криком своим заглушает
собственный ужас забвенья.
Выдохи чаще, чем вдохи,
ибо вдыхает, по сути,
больше, чем воздух эпохи:
нечто, что бродит в сосуде.
Здесь, в ремесле стихотворства,
как в состязаньи на дальность
бега, — бушует притворство,
так как велит натуральность
то, от чего уж не деться, —
взгляды, подобные сверлам,
радовать правдой, что сердце
в страхе живет перед горлом.
июнь 1963
АН.
Подтверждается дым из трубы
стариками, живущими в доме.
Подтверждается правда судьбы —

человеком с монеткой в ладони.
Точно так же движенье души,
что сродни умолкающей ноте,
замирающей в общей тиши,
подтверждает движение плоти.
Так и смерть, растяжение жил,
— не труды и не слава поэта —
подтверждает, что все-таки жил,
делал тени из ясного света.
Точно так же бросок иль рывок
подтвержден неотступною тенью.
Так и жизнь — подтверждает кивок
в толчее, — человеку — виденью...
август 1963

Вот я вновь принимаю парад
посветлевшей листвы на участке,
и, приветствуя этот возврат,
гулко дятел стучит для острастки.
И с березы прозрачной на дверь
опускается лист полусонный.
Закрываю воду, теперь
пусть дожди поливают газоны.
Дым плывет над трубой, и заря
чуть кивает из сумрачной рани
золотой головой октября,
утопающей в мокром тумане.
Больше некуда мне поспешать
за бедой, за сердечной свободой.
Остается смотреть и дышать
молчаливой, холодной природой.
5 октября 1963
Комарово

Заспорят ночью мать с отцом.
И фразы их с глухим концом
велят, не открывая глаз,
застыть к стене лицом.
Рыдает мать, отец молчит.
И козодой во тьме кричит.
Часы стучат над головой,
и в голове — стучит...
Их разговор бросает в дрожь
не оттого, что слышишь ложь,
а потому, что — их дитя —
ты сам на них похож:
молчишь, как он (вздохнуть нельзя),
как у нее, ползет слеза.
«Разбудишь сына». — «Нет, он спит».
Лежит, раскрыв глаза!
И слушать грех, и грех прервать.
Не громче, чем скрипит кровать,

в ночную пору то звучит,
что нужно им и нам скрывать.
октябрь 1963
Горячая изгородь
Снег скрыл от глаз гряду камней.
И вот земля — небес бледней.
Одна лишь изгородь черна,
и снега нет на ней.
Холодный лес прикрыла мгла.
Она сама светла, бела.
Одна лишь изгородь в снегу
стоит голым-гола.
И едет всадник вдоль холмов.
Стирает конь следы волков.
Чернеет изгородь в снегу
и слышит звон подков.
Пальто черней, чем первый грач.
Она слепа. Но он-то зряч,
но так же нем и так же глух
и, как она, горяч.
1963
Замерзший повод жжет ладонь.
Угроз, команд не слышит конь.
А в лужах первый лед хрустит,
как в очаге огонь.
Не чует конь моих тревог.
И то сказать, вонзая в бок
ему носки своих сапог,
я вряд ли передать их мог.
Знаком нам путь в лесной овраг.
И, так как нам знаком наш путь,
к нему прибавить лишний шаг
смогу я как-нибудь.
Прибавим шаг к пути, как тот
сосновый ствол, что вверх растет.
И ждет нас на опушке ствол,
ружейный ствол нас ждет.
Тропа вольна свой бег сужать.
Кустам сам Бог велел дрожать.
А мы должны наш путь держать,
наш путь держать, наш путь держать.
1963
Зимняя свадьба
Я вышла замуж в январе.
Толпились гости во дворе,
и долго колокол гудел
в той церкви на горе.
От алтаря, из-под венца,
видна дорога в два конца.
Я посылаю взгляд свой в даль,

и не вернуть гонца.
Церковный колокол гудит.
Жених мой на меня глядит.
И столько свеч для нас двоих!
И я считаю их.
1963
М.Б.
Дверь хлопнула, и вот они вдвоем
стоят уже на улице. И ветер
их обхватил. И каждый о своем
задумался, чтоб вздрогнуть вслед за этим.
Канал, деревья замерли на миг.
Холодный вечер быстро покрывался
их взглядами, а столик между них
той темнотой, в которой оказался.
Дверь хлопнула, им вынесли шпагат,
по дну и задней стенке пропустили
и дверцы обмотали наугад,
и вышло, что его перекрестили.
Потом его приподняли с трудом.
Внутри негромко звякнула посуда.
И вот, соединенные крестом,
они пошли, должно быть, прочь отсюда.
Вдвоем, ни слова вслух не говоря.
Они пошли. И тени их мешались.
Вперед. От фонаря до фонаря.
И оба уменьшались, уменьшались.
октябрь 1963
Х. В. Горенка
В деревянном доме, в ночи
беззащитность сродни отрешенью,
обе прячутся в пламя свечи,
чтобы сделаться тотчас мишенью.
Страх растет на глазах, и окно
застилает, как туча в июле,
сократив световое пятно
до размеров отверстия пули.
Тишина на участке, темно,
и молчанье не знает по году,
то ли ужас питает оно,
то ли сердцу внушает свободу.
осень 1963
В ЗАМЕРЗШЕМ ПЕСКЕ
Трехцветных птичек голоса, —
хотя с нагих ветвей
глядит зима во все глаза,
хотя земля светлей
холмов небесных, в чьих кустах
совсем ни звука нет, —
слышны отчетливей, чем страх

ревизии примет.
На волнах пляшет акробат,
сбивая мель с пути.
Все трубы зимние трубят,
но флейты не найти.
И гребень падает, бежит;
сраженный красотой,
кустарник сучьями шуршит,
а нужен козодой.
Вот так и слышишь пенье птиц,
когда трещит мороз,
не видя их упрямых лиц.
Кого, кого? (Вопрос.)
Не видя глаз, в которых власть
любви должна прочесть
не жажду, нет, но страсть, но страсть
остаться мерзнуть здесь.
декабрь 1963

ПРИЛИВ

Верней
песка с морской водой
(на помощь ночь зови),
борись с сердечной пустотой,
вступившей в след любви.
Уму грозящим страхом полн,
беги под крепкий кров,
наполнив сердце шумом волн,
как лунку, до краев.
Но лучше, в землю ткнув носком,
когда все крепко спит,
ее засыпать тем песком,
что в голосе хрипит.
декабрь 1963

Гулко дятел стучит по пустым
деревам, не стремясь достучаться.
Дождь и снег, пробивающий дым,
заплетаясь, шумят средь участка.
Кто-то, вниз опустивши лицо,
от калитки, все пуще и злее
от желанья взбежать на крыльцо,
семенит по размякшей аллее.
Ключ вползает, как нитка в ушко.
Дом молчит, но нажатие пальца,
от себя уводя далеко,
прижимает к нему постояльца.
И смолкает усилье в руке,
ставши тем, что из мозга не вычесть,
в этом кольцеобразном стежке
над замочною скважиной высясь.
Дом заполнен безумьем, чья нить

из того безопасного рода,
что позволит и печь затопить,
и постель застелить до прихода —
нежеланных гостей, и на крюк
дверь закрыть, привалить к ней поленья,
хоть и зная: не ходит вокруг,
но давно уж внутри — исступленье.
Все растет изнутри, в тишине,
прерываемой изредка печью.
Расползается страх по спине,
проникая на грудь по предплечью;
и на горле смыкая кольцо,
возрастая до внятности гула,
пеленой защищает лицо
от сочувствия лампы и стула.
Там, за «шторой», должно быть, сквозь сон,
сосны мечутся с треском и воем,
исхитряясь попасть в унисон
придыханью своим разнобоем.
Все сгибается, бьется, кричит;
но меж ними достаточно внятно
— в этих «ребрах» — их сердце стучит,
черно-красное в образе дятла.
Это всё — эта пища уму:
«дятел бьется и ребра не гнутся»,
перифраза из них — никому
не мешало совсем задохнуться.
Дом бы должен, как хлеб на дрожжах,
вверх расти, заостряя обитель,
повторяя во всех этажах,
что безумие — лучший строитель.
Продержись — все притихнет и так.
Двадцать сосен на месте кошмара.
Из земли вырастает — чердак,
уменьшается втрое опара.
Так что вдруг от виденья куста
из окна — темных мыслей круженье,
словно мяч от «сухого листа»,
изменяет внезапно движенье.
Колка дров, подметанье полов,
топка печи, стекла вытиранье,
выметанье бумаг из углов,
разрешенная стирка, старанье.
Разрешенная топка печей
и приборка постели и сора
— переносишь на время ночей,
если долго живешь без надзора.
Заостря-заостряется дом.
Ставни заперты, что в них стучаться.
Дверь на ключ — предваряя содом:

в предвкушеньи березы участка, —
обнажаясь быстрей, чем велит
время года, зовя на подмогу
каждый куст, что от взора сокрыт, —
подступают все ближе к порогу.
Колка дров, подметанье полов,
нахожденье того, что оставил
на столах, повторенье без слов,
запиранье повторное ставень.
Чистка печи от пепла... зола...
Оттиранье кастрюль, чтоб блестели.
Возвращенье размеров стола.
Топка печи, заправка постели.
1963
В твоих часах не только ход, но тишь.
Притом их путь лишен подобья круга.
Так в ходиках: не только кот, но мышь;
они живут, должно быть, друг для друга.
Дрожат, скребутся, путаются в днях.
Но их возня, грызня и неизбывность
почти что незаметна в деревнях,
где вообще в домах роится живность.
Там каждый час стирается в уме,
и лет былых бесплотные фигуры
теряются — особенно к зиме,
когда в сенйх толпятся козы, овцы, куры.
1963
2J1
ИСААК И АВРААМ
М.Б.
«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.
По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет — пойди ищи-свищи.
И этой также — капли, крошки, малость.
Исак вообще огарок той свечи,
что всеми Исааком прежде звалась.
И звук вернуть возможно — лишь крича:
«Исак! Исак!» — и эхо справа, слева:
«Исак! Исак!» — и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.
Совсем иное дело — Авраам.
Холмы, кусты, врагов, друзей составить
в одну толпу, кладбища, ветки, храм —
и всех затем к нему воззвать заставить —

ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.
От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?
«Идем же, Исаак». — «Сейчас иду».
«Идем быстрей». — Но медлит тот с ответом.
«Чего ты там застрял?» — «Постой». — «Я жду».
(Свеча горит во мраке полным светом.)
«Идем. Не отставай». — «Сейчас, бегу».
С востока туч ползет немое войско.
«Чего ты встал?» — «Глаза полны песку».
«Не отставай». — «Нет, нет». — «Иди, не бойся».
В пустыне Исаак и Авраам
четвертый день пешком к святому месту
идут одни по всем пустым холмам,
что зыблются сродни (под ними) тесту.
Но то песок. Один густой песок.
И в нем трава (коснись — обрежешь палец),
чей корень — если б был — давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать — откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она — сродни лесной осоке.
Кругом песок. Холмы песка. Поля.
Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.
Верней — моря. Внизу, на дне, земля.
Но в это трудно верить, трудно верить.
Холмы песка. Барханы — имя им.
Пустынный свод небес кружит над ними.
Шагает Авраам. Вослед за ним
ступает Исаак в простор пустыни.
Садится солнце, в спину бьет отца.
Кружит песок. Прибавил ветер скорость.
Холмы, холмы. И нету им конца.
«Сынок, дрова с тобою?» — «Вот он, хворост».
Волна пришла и вновь уходит вспять,
как долгий разговор смолкает сразу,
от берега отняв песчинку, пядь —
остатком мысли — нет, остатком фразы.
Но здесь нет брега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной, — только сбоку нет
прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.

И путники сии — челны, челны,
волна глотает след, вздымает судно.
«А трут, отец, с тобою?» — «Вот он, трут».
Не видно против света, смутно эдак...
Обоих их склоняя, спины трут
сквозь ткань одежд вязанки темных веток.
Но Авраам несет еще и мех
с густым вином, а Исаак в дорогу,
колодцы встретив, воду брал из всех.
На что они сейчас похожи сбоку?
С востока туча застит свод небес.
Выдергивает ветер пики, иглы.
Зубчатый фронт, как будто черный лес
над Исааком, все стволы притихли.
Просветы гаснут. Будто в них сошлись
лесные звери — спины свет закрыли.
Сейчас они — по вертикали вниз
помчат к пескам, раскинут птицы крылья.
И лес растет. Вершины вверх ползут...
И путники плывут, как лодки в море.
Барханы их внизу во тьму несут.
Разжечь костер им здесь придется вскоре.
Еще я помню: есть одна гора.
Там есть тропа, цветущих вишен арка
висит над ней, и пар плывет с утра:
там озеро в ее подножьи, largo
волна шуршит, и слышен шум травы.
Тропа пуста, там нет следов часами.
На ней всегда лежит лишь тень листвы,
а осенью — ложатся листья сами.
Крадется пар, вдали блестит мысок,
беленый ствол грызут лесные мыши,
и ветви, что всегда глядят в песок,
склоняются к нему, все ближе, ниже.
Как будто жаждут знать, что стало тут,
в песке тропы, с тенями их родными,
глядят в упор и как-то вниз растут,
сливаясь на тропе навечно с ними.
Пчела жужжит, блестит озерный круг,
плывет луна меж тонких веток ночью,
тень листьев двух, как цифра 8, вдруг
в безумный счет ввергает быстро рощу.
Внезапно Авраам увидел куст.
Густые ветви стлались низко-низко.
Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,
но это означало: цель их близко.
«Здесь недалеко», — куст шепнул ему
почти в лицо, но Авраам, однако,
не подал виду и шагнул во тьму.
И точно — Исаак не видел знака.

Он, голову подняв, смотрел туда,
где обнажались корни чащи мрачной,
разросшейся над ним — и там звезда
средь них (корней) зажгла свой свет прозрачный.
Еще одна. Минуя их, вдали
комки «земли» за «корнем» плыли слепо.
И наконец они над ним прошли.
Виденье леса прочь исчезло с неба.
И только вот теперь он в двух шагах
заметил куст (к отцу почуяв зависть).
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставясь.
По сути дела куст похож на всё.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо —
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен — весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью — нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг.)
Весною в нем повсюду свечи, свечи.
«Идем скорей». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой». — (под шапку, как под крышу).
«Давай скорей». — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрей. Пошли». — «Сейчас». — «Не слышу».
Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,
взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.
Он с кровью схож — она во все концы
стремит свой бег (хоть в нем возврата нету).
Но больше он всего не с телом схож,
а схож с душой, с ее путями всеми.
Движенье в них, в них точно та же дрожь.
Смыкаются они, а что в их сени?
Смыкаются и вновь спешат назад.
Пресечь они друг друга здесь не могут.
Мешаются в ночи, вблизи скользят.
Изогнуты суставы, лист изогнут.
Смыкаются и тотчас вспять спешат,
ныряют в темноту, в пространство, в голость,
а те, кто жаждет прочь, — тотчас трещат
и падают — и вот он, хворост. Хворост.
И вновь над ними ветер мчит, свистя.
Оставшиеся — вмиг — за первой веткой
склоняются назад, шурша, хрустя,
гонимые в клубок пружиной некой.
Все жаждет жизни в этом царстве чувств:
как облик их, с кустом пустынным схожий,

колеблет ветер здесь не темный куст,
но жизни вид, по всей земле прохожий.
Не только облик (чувств) — должно быть, весь
огромный мир — грубей, обширней, тоньше,
стократ сильней, пышней — столпился здесь.
«Эй, Исаак. Чего ты встал? Идем же».
Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
У ветки «К» отростков только два,
а ветка «У» — всего с одним суставом.
Но вот урок: пришла пора слова
учить по форме букв, в ущерб составам.
«Эй, Исаак!» — «Сейчас, иду. Иду».
(Внутри него горячий пар скопился.
Он на ходу поднес кувшин ко рту,
но поскользнулся, — тот упал, разбился.)
Ночь. Рядом с Авраамом Исаак
ступает по барханам в длинном платье.
Взошла луна, и каждый новый шаг
сверкает как сребро в песчаном злате.
Холмы. Холмы. Не видно им конца.
Не видно здесь нигде предметов твердых.
Все зыбко, как песок, как тень отца.
Неясный гул растет в небесных сверлах.
Блестит луна, синеет густо даль.
Сплошная тишь, исчез бесследно ветер.
«Далеко ль нам, отец?» — «О нет, едва ль», —
не глядя, Авраам тотчас ответил.
С бархана на бархан и снова вниз,
по сторонам поспешным шаря взглядом,
они бредут. Кусты простерлись ниц, —
но всё молчат: они идут ведь рядом.
Но Аврааму ясно все и так:
они пришли, он туфлей ямки роет.
Шуршит трава. Теперь идти пустяк.
Они себе вот здесь ночлег устроят.
«Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».
Он так напряг глаза, что воздух сетчат
почудился ему — и вот: «Иду.
Мне показалось, куст здесь что-то шепчет».
«Идем же». — Авраам прибавил шаг.
Луна горит. Все небо в ярких звездах
молчит над ним. Простор звенит в ушах.
Но это только воздух, только воздух.
Песок и тьма. Кусты простерлись ниц.
Все тяжелей влезать им с каждым разом.
Бредут, склонясь. Совсем не видно лиц.
...И Авраам вязанку сбросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.
Глаза слезятся, дым клубится едкий,
а искры прочь летят в ночной простор.
Ломает Исаак сухие ветки.
Став на колени, их, склонясь вперед,
подбросить хочет: пламя стало утлым.
Но за руку его отец берет:
«Оставь его, нам хворост нужен утром.
Нарви травы». — Устало Исаак
встает и, шевеля с трудом ногами,
бредет в барханы, где бездонный мрак
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
Отломленные ветки мыслят: смерть
настигла их — теперь уж только время
разлучит их не то, что плоть, а твердь;
однако здесь их ждет иное бремя.
Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь — в песке нагретом, светлом.
Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью — пеплом.
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, —
тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.
Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накинул тряпку:
«Подай сюда. Сейчас ее порву». —
И быстро стал крошить в огонь охапку.
Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.
Затем раздул внезапно пламя ветер.
«Зачем дрова нам утром?» — Исаак
потом спросил, и Авраам ответил:
«Затем, зачем вообще мы шли сюда
(ты отставал и все спешил вдогонку,
но, так как мы пришли, прошла беда), —
мы завтра здесь должны закласть ягненка.
Не видел ты алтарь там, как ходил
искать траву?» — «Да что там можно видеть?
Там мрак такой, что я от страха стыл.
Один песок». — «Ну ладно, хочешь выпить?»
И вот уж Авраам сжимает мех
своей рукой, и влага льется в горло;
глаза же Исаака смотрят вверх:
там все сильней гудят, сверкая, сверла.
«Достаточно», — и он отсел к огню,
отерши рот коротким жестом пьяниц.

Уж начало тепло склонять ко сну.
Он поднял взгляд во тьму: «А где же агнец?»
Огонь придал неясный блеск глазам,
услышал он ответ (почти что окрик):
«В пустыне этой... Бог ягненка сам
найдет себе... Господь, он Сам усмотрит...»
Горит костер. В глазах отца янтарь.
Играет взгляд с огнем, а пламя — с взглядом.
Блестит звезда. Все ближе сонный царь
подходит к Исааку. Вот он рядом.
«Там жертвенник давнишний. Сложен он
давным-давно... Не помню кем, однако».
Холмы песка плывут со всех сторон,
как прежде, — будто куст не подал знака.
Горит костер. Вернее, дым к звезде
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
Уснули все и вся. Покой везде.
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.
Спит Исаак и видит сон такой:
безмолвный куст пред ним ветвями машет,
он сам коснуться хочет их рукой,
но каждый лист пред ним смятенно пляшет.
Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы — больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
Пред ним все ветви, все пути души,
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
И вот пред ним иголку куст вознес.
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто,
тот хворост, что он сам сюда принес,
срастается с живою веткой быстро.
И ветви всё длинней, длинней, длинней,
к его лицу листва все ближе, ближе.
Земля блестит, и пышный куст над ней
возносится пред ним во тьму все выше.
Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
а «С» на нем лежит, как в путах агнец.
Так вот что КУСТ: К, У и С, и Т.
Порывы ветра резко ветви кренят
во все концы, но встреча им в кресте,
где буква «Т» все пять одна заменит.
Не только «С» придется там уснуть,
не только «У» делиться после снами.
Лишь верхней планке стоит соскользнуть,
не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.

И ветви — видит он — длинней, длинней.
И вот они его в себя прияли.
Земля блестит — и он плывет над ней.
Горит звезда...
На самом деле — дали
рассвет уже окрасил в желтый цвет,
и Авраам, ему связавши тело,
его понес туда, откуда след
протоптан был сюда, где пламя тлело.
Весь хворост был туда давно снесен,
и Исаака он на это ложе
сложил сейчас — и все проникло в сон,
но как же мало было с явью схоже.
Он возвратился, сунул шерсть в огонь.
Та вспыхнула, обдавши руку жаром,
и тотчас же вокруг поплыла вонь;
и Авраам свой нож с коротким жалом
достал (почти оттуда, где уснул
тот нож, которым хлеб он резал в доме...)
«Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул:
на чем сейчас лежат его ладони?
В одной кинжал, в другой — родная плоть.
«Сейчас соединю...» — и тут же замер,
едва пробормотав: «Спаси, Господь». —
Из-за бархана быстро вышел ангел.
«Довольно, Авраам», — промолвил он,
и тело Авраама тотчас потным
внезапно стало, он разжал ладонь,
нож пал на землю, ангел быстро поднял.
«Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему, и небу то отрадно,
что ты рискнул — хоть жертве ты отец.
Ну, с этим все. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай узрят они, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь, — где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьи есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет наверх с утра.
Всегда шумит на склоне роща рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер — роща быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять наверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.

Пройдут года — они не сменят вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах, — так то с кустов, живые.
Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза: здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
Ответь же, Авраам, его листу —
ответь же мне — идем». Поднялся ветер.
«Пойдем же, Авраам, в твою страну,
где плоть и дух с людьми — с людьми родными, —
где всё, что есть, — живет в одном плену,
где всё, что есть, стократ изменит имя.
Их больше станет, но тем больший мрак
от их теней им руки, ноги свяжет.
Но в каждом слове будет некий знак,
который вновь на первый смысл укажет.
Кусты окружат их, поглотит шаг
ТРАВА полей, и ЛЕС в родной лазури
мелькнет, как Авраам, как Исаак.
Идемте же. Сейчас утихнет буря.
Довольно, Авраам, испытан ты.
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.
Холодный свет зари залил кусты.
Идем же. Исаак почти разбужен.
Довольно, Авраам. Испытан. Все.
Конец всему. Все ясно. Кончим. Точка.
Довольно, Авраам. Открой лицо.
Достаточно. Теперь все ясно точно».
Стоят шатры, и тьма овец везде.
Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же
они столпились здесь, как тучи те,
что отразились тут же рядом, в луже.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
Стекает пот с горячих красных лиц.
Со всех сторон несется громкий говор.
На склонах овцы. Рядом тени туч.
Они ползут навстречу: солнце встало.
Свергаются ручьи с блестящих круч.

Верблюды там в тени лежат устало.
Шумят кусты, летают тыщи мух.
В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь щелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь все полно щелей, просветов, трещин.
Никто не знает трещин, как доска
(любых пород — из самых прочных, лучших,
пускай она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.
В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это все пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри — смола сошла с ума,
внутри нее дела намного хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,
оставленное ей, ползет, кося,
— куда, лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти.
Доска его упорно тянет вбок
и колется внезапно на две части.
А если ей удастся той же тьмой
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
до этих пор всегда такой прямой,
вдруг быстро начинает резать волны.
Все трещины внутри сродни кусту,
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,
одна из них всегда твердит: «расту»,
и прах смолы пылится в темных порах.
Снаружи он как будто снегом скрыт.
Одна иль две — чернеют, словно окна.
Однако «вход» в сей дом со «стенкой» слит.
Поземка намела сучки, волокна.
От взора скрыт и крепко заперт вход.
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)
останется слугою двух господ:
ладони и доски — и кто сильнее...
Не говоря о том уж, «в чьих глазах».
Пылится свет, струясь сквозь щелку эту.
Там, где лежат верблюды, Исаак
с каким-то пришлецом ведет беседу.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Кричит овца, жужжит оса невнятно.
Струится пот с горячих красных лиц.
Шатры лежат в долине, словно пятна.
Бредут стада. Торчит могильный дом.

Журчит ручей, волна траву колышет.
Он встрепенулся: в воздухе пустом
он собственное имя снова слышит.
Он вдаль глядит: пред ним шатры лежат,
идет народ, с востока туча идет.
Вокруг костров, как в танце, псы кружат,
шумят кусты, и вот бугор он видит.
Стоит жена, за ней — шатры, поля.
В ее руке — зеленой смоквы ветка.
Она ей машет и зовет царя:
«Идем же, Исаак». — «Идем, Ревекка».
«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду», — ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот, — туда, где гаснет окрик.
«Исак, не отставай». — «Нет-нет, иду».
(Березка проявляет мощь и стойкость.)
«Исак, ты помнишь дом?» — «Да-да, найду».
«Ну, мы пошли. Не отставай». — «Не бойтесь».
«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой». — (под шапку, как под крышу).
«Давай скорей». — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрей. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу»
По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
отплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски «И» — всего простой союз,
который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако он не знает, кто их сложит.
(Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука.)
Что значит «С», мы знаем из куста:
«С» — это жертва, связанная туго.
А буква «А» — средь этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук раздельный.
По существу же, — это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
«Объяло пламя все суставы "К"
и к одинокой "А" стремится прямо!»
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.
И Снова жертвА на огне Кричит:

вот то, что «ИСААК» по-русски значит.
Дождь барабанит по ветвям, стучит,
как будто за оградой кто-то плачет
невидимый. «Эй, кто там?» — Всё молчит.
«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой». — Долдонит дождь о крышу.
«Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.
Идем быстрей. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».
Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
намного больше солнца, чем должно быть
в июньских листьях — лето здесь видней
вдвойне, — хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листвы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.
В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь —
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру «8».
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру «8» — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.
Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной,
в прожекторе охвачен мертвым сном:
как сноп жгутом, он связан стенкой задней.
Летит состав, во тьме не видно лиц.
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.
Дождь хлещет непрестанно. Все блестит.
Завеса подворотни, окна косит,
по желобу свергаясь вниз, свистит.
Намокшие углы дома возносят.
Горит свеча всего в одном окне.
Холодный дождь стучит по тонкой раме.
Как будто под водой, на самом дне,
трепещет в темноте и жжется пламя.
Оно горит, хоть все к тому, чтоб свет
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.

Здесь в темноте нигде прохожих нет,
кирпич стены молчит в окне напротив.
Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.
Раскачивает дождь замок из стали.
Горит свеча, и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали.
Задвижек волны, темный вал щеколд,
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт;
все это — только море, только море.
И все ж она стремит свой свет во тьму,
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
Забор дощатый. Три замка в дверях.
В них нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
Со всех сторон царит бездонный мрак.
Открой окно — и тотчас волны хлынут.
Засов гремит, и доступ к ней закрыт.
(Рукой замок в бессильной злобе стисни.)
И все-таки она горит, горит.
И пожирает нечто, больше жизни.
Пришла лиса, блестят глаза в окне.
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.
Она глядит: горит свеча на дне
и длинными тенями стены красит.
Пришла лиса, глядит из-за плеча.
Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте
сродни словам. И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. — Но сам язык свечи,
забыв о том, что можно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,
как летний лист в пустом лесу осеннем.
1963
Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнется, торжествуя,
сопроводив мой безотрадный труд
в соседнюю природу неживую.
В былом, в грядущем, в тайнах бытия,
в пространстве том, где рыщут астронавты,
в морях ° бескрайних — в целом мире я
не вижу для себя уж лестной правды.
Поэта долг — пытаться единить
края разрыва меж душой и телом.
Талант — игла. И только голос — нить.

И только смерть всему шитью — пределом.
1963
Дом на отшибе сдерживает грязь,
растущую в пространстве одиноком,
с которым он поддерживает связь
посредством дыма и посредством окон.
Глядят шкафы на хлюпающий сад,
от страха створки мысленно сужают.
Три лампы настороженно висят.
Но стекла ничего не выражают.
Хоть, может быть, и это вещество
способно на сочувствие к предметам,
они совсем не зеркало того,
что чудится шкафам и табуретам.
И только с наступленьем темноты
они в какой-то мере сообщают
армаде наступающей воды,
что комнаты борьбы не прекращают;
что ей торжествовать причины нет,
хотя бы всё крыльцо обстали лужи;
что здесь, в дому, еще сверкает свет,
хотя темно, совсем темно снаружи...
— но не тогда, когда молчун, старик,
во сне он видит при погасшем свете
окрестный мир, который в этот миг
плывет в его опущенные веки.
1963
Покинул во тьме постель
и в темной прихожей встал.
Рассвет озарил гостей,
которых, признаться, ждал.
Часто видел вдали.
Чаще в местах пустых.
Теперь вот они пришли,
взяв с собой понятых.
Тихо. В двух зеркалах
три голубых окна.
Тихо во всех углах
реют остатки сна.
Пол с потолком связав,
63/дто бы пряжу ткут.
В рамку тем самым взяв
все, что творится тут.
Тишь. Понятой прикрыл
дверь поплотнее, спит.
Слышен лишь шелест крыл
редкий и стук копыт.
В двух шагах от сего
снег заметает двор.
Двое ищут того,

кто для обоих вор.
Пусть хоть в каждой груди
что-то чужое есть,
жизнь не могла пройти,
не намекнув на месть.
Тихо, совсем один
роюсь в горсти монет.
Глядит на меня блондин,
а рядом стоит брюнет.
Вот и проходит ночь.
Я поднимаю взор.
Оба уходят прочь.
Снова смотрит во двор,
как там витает снег,
тот, кого не найдут,
пусть хоть ищут весь век
ангел и дьявол тут.
1963
Стог сена и загон овечий
и дальше — дом полупустой —
как будто движутся навстречу
тому, что скрыто темнотой.
Всего сто метров до оврага,
который ткань свою прядет
и вскоре стены и ограду
поглотит — года не пройдет.
Хозяин-ветер неопрятен,
безмолвно движется в тиши,
и рябь холодных перекладин
граничит с пустотой в глуши.
Ушел и не спешит обратно.
Все шарит меж чужих досок.
А овцы трутся об ограду
и осыпается песок.
1963
ТЕЛЕФОННАЯ ПЕСНЯ
Вослед за тем последует другой.
Хоть, кажется, все меры вплоть до лести
уж приняты, чтоб больше той рукой
нельзя было писать на этом месте.
Как в школьные года — стирал до дыр.
Но ежедневно — слышишь голос строгий;
уже на свете есть какой-то мир,
который не боится тавтологий.
Теперь и я прижал лицо к окну.
О страхе том, что гнал меня из комнат,
недостает величия припомнить:
продернутая нить сквозь тишину.
Звонки, звонки. Один другому вслед.
Под окнами толпа, огней смешенье...

Все так же смутно там, как ощущенье,
что жизнь короче на один запрет.
1963
Шум ливня воскрешает по углам
салют мимозы, гаснущей в пыли.
И вечер делит сутки пополам,
как ножницы восьмерку на нули,
и в талии сужает циферблат,
с гитарой его сходство озарив.
У задержавшей на гитаре взгляд
пучок волос напоминает гриф.
Ее ладонь разглаживает шаль.
Волос ее коснуться или плеч —
и зазвучит окрепшая печаль;
другого ничего мне не извлечь.
Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,
прикованных друг к другу в полутьме,
ничто уже не связывает нас
в зарешеченной наискось тюрьме.
1963
Да, точно так же, как Тит Ливии, он
сидел в своем шатре, но был незримо
широкими песками окружен
и мял в сухих руках письмо из Рима.
Палило солнце. Столько дней подряд
он брел один безводными местами,
что выдавал теперь померкший взгляд,
что больше нет слюны в его гортани.
Палило солнце. Ртутный столбик рос.
И самый вход в его шатер угрюмый
песок занес, занес, пока он думал,
какая влага стала влагой слез.
1963
Зажегся свет. Мелькнула тень в окне.
Распахнутая дверь стены касалась.
Плафон качнулся. Но темней вдвойне
тому, кто был внизу, все показалось.
Была почти полночная пора.
Все лампы, фонари — сюда сбежались.
Потом луна вошла в квадрат двора,
и серебро и желтый свет смешались.
Свет засверкал. Намек на сумрак стерт.
Но хоть обрушь прожекторов лавину,
а свет всегда наполовину мертв,
как тот, кто освещен наполовину.
1963(?)
Стрекоза задевает волну
и тотчас устремляется кверху,
отраженье пуская ко дну,
словно камень, колодцу в проверку,

чтобы им испытать глубину
и захлопнуть над воротом дверку.
Но нигде здесь не встретишь ведра,
ни тарелки, ни банки, ни склянки.
Пустота, ни избы, ни двора,
шум листвы, ни избы, ни землянки.
Сруб колодца почти до бедра,
неумолчно кричат коноплянки.
Остается возможность во тьму
на веревке с шахтерской корзиной,
через блок перекинув тесьму,
распростившись глазами с низиной,
опуститься в «бадье» самому
в глубину на полет стрекозиный.
Пядь за пядью веревка из рук
вверх уходит, а звезд и не видно.
Черный мох наползает вокруг
на венцы, так что все они слитно
растворяются в сумраке вдруг,
меж собой разделенные скрытно.
Но до дна не достать; и темно.
Вот и новый порядок смещений:
приближается сверху окно.
Мимо тянущих сыростью щелей,
словно камень, уходит на дно
отражение русских качелей.
Перевернут наперсток ведра,
шум листвы — словно гомон овечий.
Сруб избы достает до бедра,
да и церковь здесь в рост человечий.
Под ногами чернеет нора, —
только ноют суставы предплечий.
Кто же ты, гулливер из лесов,
распростившийся с сумрачной пущей,
отодвинувший ногтем засов,
но протиснуться в дверь не могущий,
твердо помнящий принцип весов,
но из лужи из пригоршни пьющий.
Неужели считаешь и ты
(и ничто уж не сдвинет с решенья,
даже вкус и окраска воды),
что на дне стрекозы отраженье,
как и прежде, среди темноты
одиноко лежит без движенья.
Заморозь и куски раскроши,
но в осколках его не увидишь.
Разведи в ней костер, осуши,
но глазам не представится Китеж.
Или ветром ее оглуши...
Но ничем уж ума не насытишь.

Неужели, считаешь, она
холоднее и глубже колодца, —
ведь поверхность не слишком темна.
Но наперсток напялить придется,
добираясь ладонью до дна,
чтоб не смог невзначай уколоться.
Если что-то над грядкой встает,
значит, каждый микрон в ней прополот.
Что ж, пошарь, пусть ладонь поснует
по грязи и почувствует холод.
Там, где плоть до воды достает,
дух еще и не брался за ворот.
Есть доска и найдется бревно,
возвести можно крышу над частью
этой лужи, пробить в ней окно
и со всею возможною страстью
устремиться мизинцем на дно;
но конек заскребет по запястью.
Где «колодец»? Дощатый этаж,
облака и листва без просвета,
мох, венцы, остальной антураж
не дают тебе больше ответа.
Где «колодец»? Молчащий пейзаж
неподвижно глядит на атлета.
Где же он? Видно, там, где весы
замирают, пусты, одинаки.
Может, там, где во время грозы
прибавляется только что влаги.
Или там, где биплан стрекозы
распростер свои крылья во мраке.
Долго ищешь. Пора бы найти
хоть обломок «пилотского» кресла.
Пару щепок веревкой срасти —
вот и крылья, лишь краска облезла...
Но не сбейся в сравненьях с пути:
стрекоза исчезает, исчезла.
Настоящий изгнанник с собой
все уносит. И даже сомненью
обладанья другою судьбой
не оставит, как повод к волненью.
Даже дом деревянный с трубой
не уступит крыльца наводненью.
Отраженья — тем более. Страх
их на тусклой поверхности косит.
Если плоть превращается в прах,
как о том же двойник не попросит.
«Уноси нас с собой на крылах».
Стрекоза их, конечно, уносит.
Нет, не тот изгнанник, кого
в спину ветер, несущий проклятья,

подгоняет, толкая его,
разрывая любые объятья,
в бедный мозг, где сознанье мертво,
проникая сквозь ветхое платье.
Нет, не тот, кто виденьями полн,
начинает тонуть в половодьях,
как Назон возле сумрачных волн,
ненавидящий душу и плоть их,
словно бурей застигнутый челн,
проклиная их ропот. Напротив.
Это тот неуемный пловец,
рассекающий грудью озёра,
шум листвы, словно гомон овец
различающий скрытых от взора,
над которым пернатый певец
распускает все краски убора.
Нет, не тот. И не тот, кто везде
даже собственной тени несносен,
кто себя не встречает в воде
меж верхушек лиственых и сосен.
И не тот, кто рукой в пустоте
шарит так, что под кожею просинь.
Настоящий изгнанник — никто
в море света, а также средь мрака.
Тот, чья плоть, словно то решето:
мягче ветра и тверже, чем влага.
Кто бредет по дороге в пальто,
меньше леса, но больше оврага.
Что ж. Замри и смотри в небеса
до поры, когда облачным пряжам
нужно вдруг превращаться в леса,
становиться оврагами, скажем,
набегая кустом на глаза,
обращаясь к сознанью пейзажем.
В близоруком величье своем,
с коим взгляд твой к пространству прикован,
скрыто чувство, что странный объем,
как залог тебе долгий, дарован,
что от всякой прогулки вдвоем
и от смерти вдвоем — застрахован.
Звук стучит по воде, словно плеть
(только брызги над ней не взлетают),
проникая поверхность на треть
(и крути растворяются, тают).
Невозможно рубцы рассмотреть.
Только тучи удары считают.
Коноплян... коноплянки кричат,
и Борей заглушить их не в силах.
Только срубы колодцев торчат,
как дома на татарских могилах.

Дует ветер, и волны мельчат,
и веревки бушуют в стропилах.
В низкорослой стране ты не весь
продолжаешь упорно круженье
(дом закрыт и в колодец не влезть),
где помимо законов сложенья
заключается главная спесь
в том, что в лужах здесь нет отраженья.
То ли слезы здесь глуше угроз,
то ль на волнах других, то ли тьмою
заглушается ропот берез.
То ли тот, кто здесь бродит с сумою,
ищет ос, а находит стрекоз
даже осенью, даже зимою.
1963(7)

СТЕКЛО

Ступенька за ступенькой, дальше, вниз.
В объятия, по крайней мере, мрака.
И впрямь темно, куда ни оглянись.
Однако же бреду почти без страха.
Наверно потому, что здесь, во мне,
в моей груди, в завесе крови, хмури,
вся до конца, со всем, что есть на дне,
та лестница — но лишь в миниатюре.
Поэтому твержу, шепчу: иди.
Нельзя, я говорю, чтоб кто-то мешкал,
пока скрывает выпуклость груди,
кто увеличил, кто кого уменьшил.
Темно в глазах, вокруг темным-темно.
Огонь души в ее слепом полете
не виден был бы здесь давным-давно,
не будь у нас почти прозрачной плоти.
1963(?)

РОЖДЕСТВО 1963 ГОДА

Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.
1963-1964

СТЕКЛО

Ступенька за ступенькой, дальше, вниз. В объятия, по крайней мере, мрака. И впрямь темно, куда ни оглянись. Однако же бреду почти без страха. Наверно потому, что здесь, во мне, в моей груди, в завесе крови, хмури, вся до конца, со всем, что есть на дне, та лестница — но лишь в миниатюре. Поэтому твержу, шепчу: иди. Нельзя, я

говорю, чтоб кто-то мешкал, пока скрывает выпуклость груди, кто увеличил, кто кого уменьшил. Темно в глазах, вокруг темным-темно. Огонь души в ее слепом полете не виден был бы здесь давным-давно, не будь у нас почти прозрачной плоти.
1963(?)

ИОСИФ БРОДСКИЙ: НОВАЯ ОДИССЕЯ

Иосиф Бродский (1940—1996) уже при жизни стал одним из наиболее знаменитых поэтов современности. Жертва скандального судебного процесса, самый молодой из лауреатов Нобелевской премии по литературе, первый иностранец, ставший поэтом-лауреатом США, Бродский не только семантически, но и биографически воплотил в себе образ «поэта-изгнанника», стоика и «гражданина мира». Взгляд на судьбу Бродского, как на идеальную «судьбу поэта», в значительной степени обусловлен событиями его биографии: ссылка, благословение Ахматовой и необычайная подпольная популярность в России, изгнание, благословение У. Х. Одена и громкая слава на Западе. «Миф о Бродском», при жизни отлившийся в застывшую форму, ныне обрел совершенство пропорций хорошо построенного здания. Таким, собственно, и должен быть миф о поэте, уже в начале пути декларировавшем свою «зараженность нормальным классицизмом».

Сказанное имеет отношение больше к самой природе мифа, нежели к его герою. Бродский, почитавший композицию, «драматургический принцип», за основу любого стихотворчества, вообще любил «расписывать роли». Так, по родству темпераментов, он проецировал четырех великих римлян — Вергилия, Горация, Овидия и Проперция — на гигантов «серебряного века»: Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама. Исходя из этой логики, сам поэт, неизменно декларировавший свою близость миру Цветаевой, в изгнании должен был избрать маску «нового Овидия».

Если любая метафора, в том числе и метафора изгнания, есть «композиция в миниатюре», то собственную судьбу поэт строил, исходя, скорее, из законов эпоса. Маска Одиссея, не реального поэта, но литературного персонажа, оказалась ему гораздо ближе. Нелюбовь Бродского к потенциальным биографам, стремление, даже в посмертии, оставаться частным лицом, есть, в сущности, закономерный итог распространения избранной поэтики на важнейшее из произведений автора — собственную биографию. Впрочем, перефразируя Станислава Ежи Леца, добавим, что позволить себе такое инкогнито может лишь человек, добившийся такой славы.

* * *

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Отец его, Александр Иванович Бродский, был фотокорреспондентом армейской газеты, окончил войну в чине капитана

3-го ранга и затем работал в фотоотделе Военно-Морского музея. В 1950 году, в рамках «чистки» старшего офицерского корпуса от лиц еврейской национальности, Александр Иванович был демобилизован, после чего перебивался мелкими заметками, фотографировал для ведомственных многотиражек. Мать, Мария Моисеевна Вольперт, всю жизнь проработала бухгалтером.

В посвященном памяти родителей эссе «В полутора комнатах» поэт вспоминает, что у отца было два диплома: географического факультета Университета и Школы красных журналистов. Мать, «не сумев скрыть мелкобуржуазное происхождение, <...> похоронила мечты о высшем образовании». В молодости родители были знакомы с Зощенко, Заболоцким, Шостаковичем, Петровым-Водкиным. При том, что Александр Иванович владел немецким и латынью, а Мария Моисеевна — немецким и французским, обучать сына языкам они боялись, чтобы тот не выделялся из числа сверстников.

Истоки поэтического мировосприятия принято искать в детстве стихотворца, даже если сам он готов оспаривать это утверждение. Четыре автобиографических эссе поэта запечатлели некоторые черты его раннего опыта, актуальные для последующей жизни. Прежде всего это относится к городу, в котором Бродский родился, и к литературной среде, в которой он родился как поэт. То, что эссе, посвященные детству и отрочеству в послевоенном Ленинграде, написаны спустя четверть века и по-английски, не только придает взгляду должную отстраненность, но и подчеркивает неизменную верность автора прошлому.

«В детстве мы прежде всего эстеты: к нам обращена внешность, поверхность, форма и вид» — эта цитата из эссе «В полутора комнатах» может служить ключом к автобиографическому циклу. В эстетике Питера Бродский выделяет «возможность взглянуть на самих себя и на народ как бы со стороны» (впоследствии он разовьет этот тезис в связи с поэтикой английских метафизиков). Европейский Город, стоящий на самом краю пол у азиатской Империи, помог найти ту «точку начала взгляда», о которой Лев Лосев писал как о ключевом элементе поэтики Бродского: «город позволил <...> объективировать страну».

В 1949 году семья получила «полторы комнаты» в знаменитом доме Мурузи на улице Пестеля (Пантелеймоновской), дом 24, где с 1889 по 1913 годы находился салон Мережковских, а в 1920 году собирались участники второго «Цеха поэтов». География «переименованного города», сама архитектура северной столицы проступают в ранних стихах Бродского не только как внутренний ландшафт, но и как сюжетообразующий принцип. Подобно тому, как с томом Достоевского в руках можно проследить за путем Раскольникова, перемещения по городу юного Бродского легко восстанавливаются по тексту «Петербургского романа» (1961). Вплоть до конкретных автобусных маршрутов. Но если для Пушкина, Гоголя и Достоевского Петербург был все-таки реальным городом, в котором происходили ирреальные вещи, то Питер Бродского весь ирреален, литературен по своей природе: «Современный гид покажет вам здание Третьего Отделения, где судили

Достоевского, но также и дом, где <...>Раскольников — зарубил старуху-процентщицу». Поэт в первую очередь отмечает именно те здания, с которыми связана литературная история Петербурга: дом Мурузи, Разъезжую улицу (дом 8), где в 1909-17 годах находилась редакция «Аполлона»: «Как это нередко случается с человеком перед зеркалом, город начал впадать в зависимость от своего объемного отражения в литературе».

* * #

Эссе «Меньше единицы» посвящено собственному (и соратников по поколению) опыту отчуждения. «Подлинная история вашего сознания начинается с первой лжи», — утверждает поэт. «Официальное вранье в школе и неофициальное дома», «милитаризация детства» и «весь этот зловещий идиотизм», тем не менее, по мысли Бродского, «не сильно повлияли <...> на эстетику и этику» поколения, на «способность любить и страдать». Возможно, именно в силу своей откровенной грубости. Система была нацелена на воспитание в подростках «всеобъемлющей амбивалентности чувств», при которой «повиновение становится и второй натурой, и первой». Выход был найден юным Бродским в «искусстве отключаться». Сам он связывает это с визуальным рядом — бесконечным числом печатных изображений Ленина, «полностью лишенных индивидуального». Детский протест, выразившийся в умении «не замечать эти картинки», рассматривается как «первый шаг по пути отчуждения»: «Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению. <...> Все тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду».

Избранный «путь отчуждения» не прошел бесследно, он «колоссально ускорил движение сквозь чащу событий» и привел к «первому свободному поступку» — уходу из школы после восьмого класса. Поэт с благодарностью вспоминает свой ранний бунт, «схождение с рельсов» — в противном случае он рисковал, подобно многим сверстникам, выйти из десятилетки «с силой воли никак не большей, чем у водорослей». Сходный путь прошли сотни сверстников Бродского, которых он называет поколением, «произросшим из послевоенного щебня». Они стали первым неидеоло-гизированным поколением, родившимся и выросшим при советской власти. Единственной альтернативой «аду серости с убогой материалистической догмой и жалкими потребительскими поползновениями» оказалась литература: «Начиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем. Книги стали первой и единственной реальностью».

Это книжное поколение молодых петербуржцев составило костяк литературной среды, в которой начинал юный Иосиф Бродский. Четверть века спустя поэт признавался в интервью Дмитрию Савицкому, что для него «...неофициальная культура <...> привлекательна уже хотя бы потому, что антитезис, он всегда более приятен и занятен, и более живое явление, чем тезис, или, по крайней мере, открывает возможности для развития. <...> в ней проявилась главная тенденция русской культурной жизни, а именно вот эта самая тоска по мировой культуре, и этой тоски она была порождением».

Альтернативное существование, обусловленное уходом из школы, неизбежно влекло за собой стиль жизни, маргинальный по отношению к окружающей действительности. Самообразование заменило официальные дипломные корочки. Любовь к польской и английской поэзии заставила самостоятельно овладевать языками. Выбор профессии был предопределен, выбор же места работы диктовался максимальной внутренней свободой для возможности писать стихи. В этом смысле генерация Бродского предвосхитила грядущее «поколение дворников и сторожей». С 1955 года поэт перепробовал множество работ: работал фрезеровщиком на заводе «Арсенал», в больнице, в морге, был кочегаром, лаборантом, пытался устроиться лесником, изъездил с геологическими экспедициями страну: от Белого моря до Тянь-Шаня и от Якутии до Казахстана.

* * *

В отличие от большинства своих сверстников, писавших стихи едва ли не с детсадовского возраста, Бродский обратился к поэзии сравнительно поздно. Первые стихи написаны в 1957 году, в геологической экспедиции. В период с 1957 по 1960 он стремительно переживает смену самых разнообразных версификационных влияний: от переводной поэзии Лорки, Рицоса, Хикмета — до стихов Цветаевой и Слуцкого. За несколько лет Бродский проделывает огромный путь, осваивая опыт десятка самых различных поэтов. Сам Бродский определяет интенсивность поисков тех лет, как «дух соревнования». Именно в этот период были созданы 4 «Пилигримы» (1958) — стихи, в которых задается одна из важнейших тем поэзии Бродского — мотив необходимости движения.

В 1958 году Бродский начинает посещать различные литобъе-динения, выступать с чтением стихов. Среди творческой молодежи Ленинграда в ту пору наибольшей популярностью пользовались ЛИТО Горного института, Дворца культуры им. Первой Пятилетки и ЛИТО Технологического института, где, по воспоминаниям Владимира Уфлянда, в те годы «громогласно царил Евгений Рейн со своей поэмой о Рембо и тихо, но ярко блистали Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев». В октябре 1959 года на квартире у Славинских в Ново-Благодатном переулке состоялось знакомство Бродского с Евгением Рейном, чуть позже — с Анатолием Найманом, в результате

чего окончательно сложилось литературное содружество. В марте 1959 года происходит первое крупное публичное выступление Бродского на «турнире поэтов» в ленинградском ДК им. Горького, где чтение стихотворения «Еврейское кладбище» имело скандальный успех. Виктор Кривулин вспоминал, что уже тогда эти стихи воспринимались слушателями как «новая музыка <...> разделившая поколение».

Именно в связи с этой «новой музыкой» имеет смысл устоявшееся определение начального периода творчества Бродского как

«романтического». Наиболее отчетливой «романтической» чертой периода стала музыкальность стиха. Для Бродского, поэта «ме-лического начала», самым страшным злом в эти годы кажется «метрическая банальность». Он неустанно экспериментирует с метром, чудовищно растягивает строку, так что иногда «стихотворение начинает казаться текстом романса и просит струнного аккомпанемента» (Л. Лосев). Отчасти объяснением этому служит тогдашнее «догуттенберговое» состояние молодой поэзии, ориентированное на чтение вслух. Собственно романтической является и фигура выступающего со сцены «нонконформного» поэта, дерзкой звуковой атакой, на грани пения и исполнения сакральных гимнов, буквально завоевывающего зал либо вызывающего к себе бешеную ненависть. Так Александр Кушнер усматривает в поэте «наследника байронического сознания», вспоминая, как однажды в разговоре Бродский внушал ему, что «поэт должен "тормошить" читателя, "брать его за горло"».

Весной 1960-го Бобышев, Бродский, Найман и Рейн, окончательно закрывая себе путь в официальную литературу, публикуются в самиздатовском журнале «Синтаксис» Александра Гинзбурга. В том же году, когда поэту после очередного полевого сезона в геологической экспедиции удалось устроиться на кафедру кристаллографии Ленинградского университета, в руки ему попадают практически недоступные тогда сборники Мандельштама. Словарем Мандельштама первых двух книг, с его варьирующимся мотивом пустоты как метафизического отсутствия, продиктовано стихотворение «Сад» (1960), явившее нам нового, уже совершенно сложившегося оригинального поэта. Но если для Мандельштама поэтическое слово рождается из пустоты и молчания, как Афродита из пены («Silentium»), то Бродского заставляет произнести слово именно перспектива исчезновения в пустоте, чреватой не творче-ством, но его невозможностью.

Корпус стихов 1961 года любопытен как пример того, что Л. Я. Гинзбург, обращаясь к поэзии Бродского, определила в своем последнем интервью как «претворение жизни в искусство». Сверившись с датировкой стихотворений, можно без труда восстановить события реальной жизни автора. В конкретной поэтической практике это означало отход от абстракций и появление в стихах личного времени стихотворца. Личное время становится сюжето-образующим и композиционным принципом стиха. Одновременно Бродский начинает разрабатывать просодические возможности четырех- и пятистопного ямба. Итогом стало рождение особого жанра «больших стихотворений», на структурное отличие которых от романтической поэмы обращает внимание Я. Гордин. По замечанию Льва Лосева, «юный Бродский словно бы выталкивал "чистую лирику" из своего поэтического обихода. Он предпочитал разворачивать скромный лирический сюжет в поэму, перегруженную барочными описаниями <...> или литературно-философским цитированием».

Поэтический дневник 1961 года представлен тремя крупными произведениями: создававшейся всю весну поэмой «Петербургский роман», циклом «Июльское интермеццо» (июнь-август) и поэмой-мистерией «Шествие» (сентябрь-ноябрь). Завершает его «Рождественский романс», в котором поэт впервые открывает для себя связь между структурированием времени и христианством. Личное время стихотворца становится временем христианской культуры.

В августе 1961 года произошло знакомство Бродского с Ахматовой. Отношения Ахматовой с «волшебным хором», как она окрестила четверку Рейн, Найман, Бобышев, Бродский, носили характер не литературного, но скорее духовного ученичества. Поэт вспоминает, что в ее присутствии собеседник невольно отказывался от «языка», которым он говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась Ахматова. «Язык» Ахматовой был, прежде всего, языком высокой христианской культуры, и он оказался чрезвычайно благотворен для изживавшего комплекс «культурного беспризорничества» молодого Бродского. Поэт пришел к христианству в значительной степени через литературу — Пушкина, Баратынского, Мандельштама. Следующим этапом на этом пути стало личное общение с Ахматовой. Уроки повседневной христианской этики, усвоенные Бродским в этом общении ранее, нежели произошло его знакомство с Писанием, в значительной степени предопределили последующую принципиальную внеконфес-сиональность поэта, неизменно подчеркивающего свою принадлежность к христианской культуре.

Из знакомства с поэзией Ахматовой поэт вынес вкус к акмеистической зоркости, конкретности деталей, точности психологических мотивировок. Важным уроком ее поэтической техники стала для Бродского конкретность времени. Если в ранних стихах «время» выступает в качестве предельной абстракции, то уже с осени 1961 конкретные месяцы, время суток, часы, не теряя своей абстрактной символики, становятся все более личностными, завершая процесс, начатый в «Петербургском романе». Непосред-ственно после знакомства с Ахматовой Бродский начинает работу над «Шествием» с его жесткой и конкретной темпоральной последовательностью. В дальнейшем «календарность» в поэзии Бродского преобразуется не только в стихи «Рождественского цикла», но и станет неизменным атрибутом любовной лирики.

* * *

1962 — год обращения Бродского к опыту английской поэзии, знаменующего начало нового периода в его творческой эволюции. Переход к новой поэтике совершался постепенно, «романтические» стихи длительное время сосуществовали с «метафизической» лирикой. Последняя не только не отрицала предшествующий опыт, но связана с ним множеством просодических находок, преемственностью образной системы, общностью заявленных тем и неизменностью стоящих перед поэтом вопросов. Резонанс с английской традицией в душе представителя «ленинградской школы» достаточно закономерен. Если в эстетике Петербурга Бродский выделяет его местонахождение на краю России, обуславливающее возможность отстранения, то сходную ситуацию он усматривает и в отношении островитян к континентальной Европе, для которого характерен «несколько изумленный взгляд на вещи со стороны». Причину этого Бродский выводит из самой природы английского языка, главное качество которого «не statement, то есть не утверждение, а understatement — отстранение, даже отчуждение». Так возможности, открываемые английской традицией, совпали с собственными поисками поэта.

Опыт обращения к поэтике барокко означал не только поворот в личном творчестве Бродского, но и становление целого пласта неподцензурной культуры 60-х: черты барочной эстетики явственны и в поэзии Станислава Красовицкого, и у товарища Бродского по «ахматовскому» кружку Дмитрия Бобышева, и у ряда других представителей «параллельной культуры». Наиболее точно этот феномен можно определить посредством введенного Д. С. Лихачевым термина «литературная трансплантация», когда «целые культурные пласты пересаживались на русскую почву и здесь начинали новый цикл развития».

В феврале 1962 года поэт приступает к созданию «Песен счастливой зимы» (1962—63), знаменующих победу «метафизической струи» в его творчестве. В «Песнях» цикла на

обостренное переживание смертности, сопутствующее «ходу времени», накладывается противопоставление «постоянства», «прочности» вещей — иллюзорности любви, вообще человеческих отношений. В процессе работы над «Песнями счастливой зимы» окончательно складывается последующая поэтика Бродского, вплоть до нового резкого поворота, осуществленного в цикле «Часть речи» (1975-76). Бродский осваивает выразительные средства, адекватные языку английской поэзии, впервые использует новые строфические принципы. Первичным элементом стихотворения вместо строки становится блок строк, количественно доходящий до строфы или даже нескольких строф.

Изощренность метафорического мышления, склонность к парадоксу, эксперименты с ритмом и строфикой, смешение языковых пластов, ядовитый юмор, умение в композиции стихотворения, при самом извилистом его развитии, свести все ходы воедино — все эти составляющие последующего творчества Бродского связаны с органическим освоением поэтики английских метафизиков XVII века, прежде всего — Джона Донна. Но если поэзия Донна и других представителей «метафизической школы» пронизана ощущением дисгармоничности, «распада всех прежних основ жизни», характерным для пришедшего на смену Ренессансу маньеризма (А. Аникст), то Бродский выражает скорее мироощущение наследовавшего маньеризму барокко, т.е. стремится, при всем осознании этой дисгармоничности, упорядочить хаос. Поэт не следует традиции Донна, но скорее продолжает ее; его увлеченность окрашена не самой поэзией метафизиков, но тем, что из этой поэзии вышло или могло выйти. В основе поэтики Донна лежит совмещение несовместимого: высокой духовности и плотской страсти, рационализма и «экстазов», новейших (для его времени) научных достижений и средневековой мистики. Эта постановка оппозиций сугдественно повлияла на стремление Бродского к логическому упорядочению поэтической мысли при помощи метафор и в синтаксисе, на его умение развивать свои доводы в обход контраргументов, выстраивая цепочку беспрестанно меняющихся логических связей. Но если у Донна цепочка аргументов и контраргументов завершается, как правило, прорывом, «экстазом», то для Бродского важно преодоление раздробленности мироздания посредством поэтического текста.

Влияние поэтики Донна прослеживается в строфике Бродского, в резком возрастании метафор-копул, в его экспериментах с дольником, приближающимся к прерывистому звучанию разговорной речи. Но основным уроком Донна стал урок композиции, осознание самой метафоры, как «композиции в миниатюре». Применение на практике этих уроков обусловило качественный скачок в поэзии Бродского. Сознательная тяга поэта к большим формам вылилась в создание «лирического эпоса», включающего в себя «Большую элегию Джону Донну», поэму «Исаак и Авраам», неоконченную поэму-эпопею «Столетняя война» (все 1963), «большое стихотворение» «Пришла зима, и все, кто мог лететь» (1964—65) и роман в стихах «Горбунов и Горчаков» (1966—68), связанные общей философской проблематикой, общими структурными приемами, сквозным метафорическим рядом и единой метрикой. Следствием работы над «эпосом» стало преобладание в мировоззрении Бродского «неоклассических» «охранительных» принципов по отношению к культуре, поэзии, языку, впервые сформулированных в «Неотправленном письме» (1962—63) в связи с дискуссией о реформе правописания.

* * *

Странный симбиоз барокко и неоклассицизма, характерный для второго периода эволюции Бродского, складывался на фоне известных печальных событий его биографии. 29 ноября 1963 года в «Вечернем Ленинграде» появился фельетон «Окололитературный трутень». 13 декабря правление ленинградского Союза

писателей под руководством Александра Прокофьева отмежевалось от поэта и фактически санкционировало его преследование. «Песни счастливой зимы» дописывались уже в обстановке травли, работа над «Столетней войной» была прервана. Вторая из двух «счастливых зим» именуется таковой только иронически — два зимних месяца прошли в бегах, поэт скрывался на дачах у знакомых, уезжал в Москву.

Для Бродского это не стало неожиданностью, его уже неоднократно арестовывали, но затем отпускали. У поэта еще оставалась надежда как-то отсидеться, устроиться на работу в глубинку, чтобы о нем забыли, но планам этим не дано было осуществиться. Рождество и Новый 1964 год Бродский встретил в психбольнице им. Кащенко в Москве, где пытался укрыться от преследований. Выйдя из «психушки» 5 января, он снова «уходит в подполье». Поэт уехал в Тарусу, где скрывался у своего друга В. П. Голышева. Там было написано последнее стихотворение на свободе, — «Во-
гро
ронья песня». В частном письме Бродский вспоминал: «Вернувшись из Тарусы в Ленинград, я был на следующий день арестован. Не будь Тарусы <...> это произошло бы раньше». Арестовали поэта 13 февраля, а 18 февраля состоялся первый суд, после которого Бродский был отправлен на психиатрическую экспертизу. 13 марта второй суд приговорил его к 5 годам принудительных работ на Севере. На процессе поэт, по свидетельству очевидцев, держался «с замечательным достоинством и мужеством». Его ответ на вопрос судьи: «Кто причислил вас к поэтам?» — «Я полагаю, что это от Бога» — цитировался, вероятно, чаще, чем любая из его стихотворных строк. Бродского приговорили к пяти годам ссылки и он был отправлен по этапу в деревню Норенская Коношского района Архангельской области.

«Какую биографию творят нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял», — воскликнула Ахматова в 1964 году. Перипетии личной биографии были, несомненно, для поэта мучительны, но он, по свидетельству Евгения Рейна, воспринимал их как нечто неизбежное: «...не было никакого пессимизма, никакого распада, никакого нытья». Комплекс русского поэта — жертвы властей даже требовал подобного опыта как своеобразной инициации. Бродский, неизменно отказывавшийся во всех своих интервью возвращаться к теме процесса и ссылки («это был определенный зоопарк»), тем не менее, однажды не без юмора прокомментировал это следующим образом: «Получилось так, что я соединил в себе наиболее соблазнительные черты тем, что писал стихи и был евреем».

Ссылка в Норенскую стала своеобразной «Болдинской осенью» поэта. По окончании сезонных сельхозработ, располагая уединением и некоторым свободным временем, Бродский совершенствует свой английский язык, внимательно читает Т. С. Элиота, У. Х. Одена, невероятно много пишет. По мнению Рейна, посетившего вместе с Найманом поэта на его 25-летие, 24 мая 1965 года, «это был один из наиболее сильных благотворных периодов Бродского, когда его стихи взяли последний перевал. После этого они уже иногда сильно видоизменяются, но главная высота была набрана именно там, в Норенской, и духовная высота, и метафизическая высота».

Продолжая экспериментировать, поэт использует композиционные возможности барокко. Стихи становятся «текучими», резко повышается наличие скрытых (и пародируемых) цитат в тексте. Общей чертой барокко и классицизма является то, что — в противовес романтическому чувственному — был выдвинут принцип интеллектуального познания мира. И здесь мы сталкиваемся со стилистическим парадоксом эволюции Бродского — появлением в его «неоклассических» стихах вполне «романтической» иронии, которая, по определению Р. Якобсона, «преподносит нам одну и ту же вещь с противоположных точек зрения — то гротескно, то серьезно,

то одновременно гротескно и серьезно». Если в произведениях раннего периода «романтическая ирония» как элемент стиля практически отсутствует, то в стихах «неоклассических»
она зачастую является движущей силой стихотворения, организует его сюжет.
Окончательно «неоклассическая» позиция формулируется в «Стихах на смерть Т.С.Элиота» (1965). В основу их положена эпитафия Одена «Памяти У. Б. Йейтса». Строка Одена «Время... преклоняется перед языком и прощает его служителей» может служить эпиграфом к последующим размышлениям поэта о Языке и Времени. Но если в эпитафии Одена поэт сливается с памятью человечества и этим побеждает смерть, то для Бродского победа над временем и смертью осуществляется в самом факте поэзии, способности человека творить. Умирая, поэт празднует свою победу над Временем. Мотив слияния поэта с Временем посредством смерти и победы над ним посредством Языка становится в последующем творчестве Бродского доминирующим.
* * *
В сентябре 1965 года в результате вмешательства видных деятелей европейской культуры, вызванного публикацией на Западе записи судебного процесса, сделанной Фридой Вигдоровой, Бродский был досрочно освобожден. 18 месяцев, проведенных поэтом в ссылке, принесли ему мировую известность. В 1965 году в Нью-Йорке вышла книга «Стихотворения и поэмы», составленная Глебом Струве, в 1966 — французское, немецкое и голландское издания. Всего же, не считая многочисленных публикаций в периодике — как в эмигрантской, так и в переводах на другие языки — на момент отъезда из России у Бродского вышло 8 книг на различных языках, включая сербский, чешский и иврит. Поэт становится чрезвычайно популярен у иностранных журналистов, ученых-славистов, приезжающих в Россию. У него берут интервью, его приглашают в западные университеты (естественно, что разрешения на выезд власти не дают) и т. п. Первая английская книга Бродского была даже переведена и издана лордом Николасом Бетелом, членом Британской палаты пэров. Для недавнего изгнанника, пишущего стихи в стол либо читающего их небольшой аудитории, все это было очень важно.
Жизнь, казалось бы, налаживалась. Власти, конечно, держали его под наблюдением, но возможность зарабатывать литературным трудом (поденными переводами) появилась. Уладились (на время) и личные дела. В 1967 году у поэта родился сын Андрей. Но что-то изменилось необратимо. Распался дружный Ахматовский кружок. Трещина, прошедшая в результате ряда событий в личной жизни, все более расширялась. Рейн и Найман переселились в Москву. 5 марта 1966 года умирает Ахматова, и все четверо в последний раз собираются вместе.
В 1966 году Бродский даже подготовил к изданию в Ленинградском отделении «Советского писателя» книгу стихотворений «Зимняя почта». Книга собрала положительные внутренние рецензии Всеволода Рождественского, Вадима Шефнера, Веры Пановой, Леонида Рахманова, ее редактором согласен был стать академик
2$2
В. М. Жирмунский, но под давлением властей «Зимняя почта» так и не увидела свет.
1965—68 — годы работы над финалом «лирического эпоса», романом в стихах «Горбунов и Горчаков». Действие романа происходит в сумасшедшем доме, представляющем своеобразную колбу, в которой время остановлено. Эта остановка — закономерное следствие сквозного движения всего «романтического» периода и "лирического" эпоса». Впоследствии к подобному приему Бродский прибегнет в пьесе «Мрамор» (1984), где роль «колбы» будет играть тюрьма.
«Лирический эпос» составил религиозно-философскую основу всего последующего творчества Бродского. Его диалогическая структура может быть прочитана как

отражение нескончаемой «тяжбы с Творцом», которую ведет поэт. Душа и Джон Донн, Исаак и Авраам, Гонец и Ангел, Горбунов и Горчаков, Туллий и Публий пьесы «Мрамор» — свидетельство неразрешенности (и неразрешимости) поставленных поэтом перед собой вопросов: творчество и смирение, свобода и вера, человеческое и божественное, экзистенциальное и метафизическое.

К концу второго периода «классицизм» Бродского обретает черты оригинальной, вполне независимой от Элиота концепции. Общим здесь является безусловное осознание себя частью христианской культурной традиции, полярно противопоставленное «всякому авангардизму». Но если «утверждающий классицизм» Элиота наследует всей европейской культуре, прошлое, настоящее и будущее культуры существуют для него одновременно, то в основании «скептического классицизма» Бродского (термин Ст. Ба-ранчака) лежит столкновение гуманистической традиции с опытом XX века, изменившим прежние представления о сущности человеческой природы. Это столкновение порождает основной творческий метод «скептического классицизма»: иронию.

Дальнейшее развитие «неоклассического» периода связано с разработкой таких традиционных тем, как Поэт и Империя, античность и христианство, прошлое и современность. Отчасти обращение к имперской «римской» тематике обусловлено знакомством поэта в августе 1966 с Литвой. Еще в первых «литовских» стихах Бродского «Коньяк в графине — цвета янтаря» (1967) на меланхолическую пляжную зарисовку накладывается осознание себя гражданином Империи-завоевателя в маленькой покоренной стране. В «Аппо Domini» (1968) перед нами уже не Литва, а захолустная провинция Рима. Герои стихотворения — Поэт и Наместник — не противопоставлены, а сопоставлены друг с другом. Обоих сделала несчастными Империя, выступающая здесь как «метафора насильственной гармонизации при глубоком внутреннем неблагополучии» (Я. Гордин).

Разрабатывая свою модель античного мира, поэт «опрокидывает» ее в будущее, придавая черты универсальной антиутопии. Цикл «Post aetatem nostram» (1970) продиктован взглядом Бродского на вторую мировую войну как на Армагеддон, тесно связанным с его представлением о конце христианской культуры. Постэсхатологизм названия («После нашей эры») контрастирует с живописными сценками из жизни Имперского города. Но созданный поэтом шумный, пестрый мир производит впечатление ирреальности. Империя безжизненна. Не будет прихода Спасителя, потому что действие происходит уже «после конца» христианства. Единственно живой человек в этом иллюзорном мире — «задумавший перейти границу грек», еще одна из авторских масок. И побег ему удается, хотя бы и ценой прощания с морем: влагой, свободой, жизнью.

В написанной незадолго до эмиграции «Заметке о Соловьеве» Бродский говорит о том, что «человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения». Подобная судьба настигла в 1972 году самого поэта. Известно, что он не хотел уезжать из России; известно, что у него не было иного выбора. Уже перед самым отъездом, подводя итоги, Бродский создает несколько вершинных произведений своей лирики: «Сретенье», «Письма римскому другу» и «Бабочку». Эти стихотворения стоят в его творчестве несколько особняком. В сущности, они указывают на те направления, по которым поэзия Бродского могла бы продолжить свое развитие, если бы не совершилось искусственной пересадки на чужую почву. Посвященное памяти Ахматовой «Сретенье» на деле явдяется продолжением стихотворения Т. С. Элиота «A Song for Simeon». Так в рамках одного стихотворения он отдает дань памяти двум именам, сыгравшим огромную роль

в формировании его неоклассической позиции. Хрупкая изящная «Бабочка», являющая собой «легкую преграду» меж поэтом и Ничто, явно выпорхнула со страниц метафизиков, скорее всего, Марвелла. «Письма римскому другу», написанные от имени окончившего дни в изгнании, в провинциальной Бильбиле, Марциала, пред-восхищают собственную судьбу поэта и вооружают его" навыками стоицизма.

Остается только гадать, как могла бы сложиться судьба Бродского в «возлюбленном отечестве». Несомненно одно: именно в России он «создал мир в себе», и когда законы «сжатия, вытеснения, уничтожения» сделали свое дело, унес этот мир с собой. На этом фундаменте строится все творчество поэта после России. А квинтэссенцию его Бродский сформулировал в интервью Наталье Горбаневской, посвященном десятилетию изгнания: «Быть может, самое святое, что у нас есть — это наш язык...»

* *

4 июня 1972 года самолет с изгнанным поэтом на борту приземлился в Вене. Накануне отъезда из СССР Бродский написал открытое письмо Брежневу, проникнутое уверенностью в возвращении на родину «во плоти или на бумаге»: «...даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится». Поэта встретил давний друг и переводчик, основатель издательства

«Ардис» Карл Проффер, а на третий день, после выполнения формальностей, Бродский с Проффером уже были в гостях у У. Х. Одена. Начиналось новое странствие.

«Перемена Империи», естественно, стала трагедией. Пересечение государственной границы тогда равнялось едва ли не путешествию в один конец с драхмой под языком. Причем и для отъезжающего, и для остающихся. Сначала невозможность увидеть мать и отца, а позже невозможность для них быть похороненными руками сына — за это поэт расплатился инфарктами, операциями на сердце. Чуду западной медицины обязаны Бродский и мы, его читатели, десятилетиями жизни поэта. В Союзе подобных операций ему бы никогда не сделали.

Запад вообще встретил Бродского приветливо, дал возможность нормально жить и работать. Приезд поэта был отчасти подготовлен выходом в 1970 году в Нью-Йоркском издательстве им. Чехова сборника «Остановка в пустыне», который, в отличие от изобилующих опечатками, изданных на скорую руку «Стихотворений и поэм» (1965), может считаться первой авторской книгой Бродского. За выходом сборника последовало избрание поэта членом Баварской Академии Изящных Искусств. В июне-июле 1972 Бродский выступает вместе с Оденом в Лондоне и Оксфорде. Далее он принимает предложение Карла Проффера и, став poet in residence в Мичиганском Университете, поселяется у Великих Озер, в Анн Арборе. С этого времени и буквально до последних дней жизни Бродский почти двадцать четыре года преподавал в различных американских университетах: Мичиганском, Колумбийском, Нью-Йоркском, в Квинс колледже (Нью-Йорк). С 1980 года он принял постоянную профессорскую должность в престижных «Пяти колледжах» Массачусетса.

Помимо преподавательской работы, дальнейшая биография поэта — в его книгах на русском и английском языках. В 1973 году выходит с предисловием Уистана Одена английский сборник Бродского ((Selected Poems», переведенный Джорджем Кляйном. В 1977 издательство «Ардис» публикует составленные Владимиром Марамзиным и Львом Лосевым сборники «Конец прекрасной эпохи. Стихотворения 1963—1971», «Часть речи. Стихотворения 1972—1976» и отдельное издание цикла «В Англии». В 1980 году издательство «Farrar, Straus & Giroux» выпускает том «A Part of Speech», включающий, помимо блестящих переводов Джорджа Кляйна, Алана Майерса, Барри Рубина, Ричарда Уилбера, Энтони Хекта, автопереводы Бродского на английский и написанную им по-английски элегию на смерть Роберта Лоуэлла. Одновременно, начиная с середины 70-х годов, в американской периодике публикуются эссе

Бродского на английском языке. В 1982 году нью-йоркское издательство «Руссика» выпускает «Римские элегии», в 1983 — выходит книга лирики «Новый стансы к Августе. Стихи к М.Б. 1962—1982», в 1984 — пьеса «Мрамор», в 1987 — сборник «Урания». В 1986 году Бродский публикует том эссе «Less Than Опе», удостоенный премии Национального совета критиков США (the National Book Critics Circle). В 1988 выходит в свет сборник «To Urania:
Selected Poems 1965—1985», содержащий, помимо автопереводов, уже несколько стихотворений, в оригинале написанных по-английски. В 1990 поэт публикует сборник «Примечания папоротника» и пьесу «Демократия!». В 1991 в итальянском переводе выходит книга о Венеции «Fondamenta degli Incurabili» (английское издание 1992 года «Watermark»).
Начиная с 1988 года стихи Бродского возвращаются на Родину. В августе 1990 выходят два первых отечественных сборника: «Назидание» и «Осенний крик ястреба». За ними при жизни поэта последовало два десятка изданий, среди которых двухтомное собрание сочинений «Форма времени» (1992) и подготовленные «Пушкинским фондом» «Сочинения Иосифа Бродского» в четырех томах (1992—1995).
Этот внушительный список может быть пополнен не менее внушительным перечнем наград и почетных титулов. Бродский становится членом Американской Академии, доктором honoris causa Йельского Университета (1978). В 1979 году книга его итальянских переводов, выполненных Джованни Буттафавой, удостаивается сразу двух литературных премий (Feltrinelli prize for poetry и Mondello Literary Prize). В 1980 году Бродский становится гражданином США, а в 1981 получает на пять лет стипендию «гениев» фонда Mac Arthur. В 1987 году ему присуждается Нобелевская премия по литературе. В мае 1991 года Бродский занимает пост поэта-лауреата США, в июне того же года — получает мантию доктора «honoris causa» Оксфордского Университета. В том же году он становится кавалером ордена Почетного легиона... Список этот далеко не полон.
В последние годы судьба, похоже, стала более милостива к поэту. 1 сентября 1990 года в Стокгольме состоялось его бракосочетание с Марией Содзани, а 9 июня 1993 года родилась их дочь, маленькая Анна Мария Александра, названная так в честь Анны Ахматовой, Марии Моисеевны и Александра Ивановича Бродских. Этим двум женщинам — Марии и Анне — обязаны мы счастьем последних лет жизни Бродского и высотой его прощального взлета.
* * *
Отправляясь в изгнание, Бродский написал одно из наиболее известных своих стихотворений, «Одиссей Телемаку». Здесь не только горечь разлуки с сыном, не только осознание бесконечности скитаний, но и отчетливо избранная литературная позиция. Жанр стихов-путешествий, занимающий в поздней поэзии Бродского исключительное место, — один из мостков, связывающих его до-и послеотъездное творчество. Романтическая тема странствия вылилась в сквозной мотив необходимости движения, перемещения в пространстве, и стала организующим принципом: как поэтически, так и биографически. «Я — кочевник», — заявил поэт в одном из интервью и расшифровывает это как стремление скомпрометировать саму «идею горизонта». «Кочевой» образ жизни подчеркивает одну из важных сквозных тем поэзии Бродского — тему
«что будет после конца»; это продолжение его давнего спора с самой идеей конечности, остановки, которая приравнивается к смерти. Многочисленные города, по которым кочует стихотворец, предстают как места приобретения дополнительных навыков одиночества. Они суть промежуточные станции на пути к «центру мирозданья и циферблата», Городу, где поэт может встретиться лицом к лицу со своим основным

оппонентом — «Временем в чистом виде». И сам современный Одиссей в своих странствиях готовится к этой главной в его жизни встрече. Прежде романтический герой, он обращается в «совершенного никто», «человека в плаще», меланхолически наблюдающего за ходом времени из-за столика в случайном кафе. Так, слившись с монотонным множеством «толпы», приобретает Бродский ощущение неуязвимости и, одновременно, победы над временем — хотя бы в стихотворении. Осознание себя наедине с языком — единственной оставшейся опорой — пронизывает все творчество Бродского вне «возлюбленного отечества». Оно проходит под знаком нарастания и окончательной победы «нейтральной интонации», которую сам Бродский связывал с влиянием поэтики Одена. Если в его «неоклассической» позиции прежде присутствовала медиумическая функция поэта, то здесь Бродский прямо отождествляет человека с «частью речи». Одновременно, время осознается поэтом как категория лингвистическая, он стремится сделать свой стих как можно более монотонным, приблизить его к «звучанию маятника». В эссе о Мандельштаме Бродский называет стихи «почти осязаемыми сосудами времени». Стихи-странствия нового Одиссея, обладающего, в отличие от коренных обитателей, возможностью взгляда «как бы со стороны», заполняют пустоту поверхностного и издерганного современного сознания, предлагают читателю сменить оптику и осознать себя не только человеком, живущим в культуре, но и человеком культуры.

* * *

Иосиф Бродский умер от сердечного приступа в ночь на 28 января 1996 года. В своих странствиях он успел невероятно много. Успел, перед самой смертью, отправить в мир три последних послания: долгожданную русскую книгу стихов «Пейзаж с наводнением», книгу английских стихов и автопереводов «So Forth» и том прозы «On Grief and Reason». «О скорби и разуме» — завещание остающимся.

Не нам судить, обрел ли Одиссей Итаку, но «письмо в бутылке», содержащее отчет о плавании, нами получено.

Виктор Куллэ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Вторая половина нашего столетия открыла необходимость отношений личности и всей целокупности мира как отношений двух самостоятельных частностей, игнорируя трагичность их временной и пространственной несоразмерности.

Эта новая безнадежность (по-новому языческая) стремительно опустошает сознание и ставит Искусство Слова перед дилеммой: либо отказаться от христианских ценностей, что превратит вопросы Жизни и Смерти в вопросы технологические, либо так изменить речь, чтобы христианское отношение к миру сделалось ее внутренней структурой и вернуло Человеку основание «заглядывать за горизонт».

Иосиф Бродский — единственный из великих русских поэтов XX века, в чьем творчестве отчаяние существования преодолевается самой структурой поэтической речи. В зрелых вещах он дарит нам текст как пространство высказываний, принадлежащее не только Искусству, но и формирующее совершенно новое сознание, для которого «пушкинский язык» становится классическим (в ньютоновском смысле) случаем выражения.

Иначе говоря, стремящиеся в его текст слова участвуют в событии, важность которого безошибочно угадывается читателем вне зависимости от характера этого события и отношения к нему автора. Кажется, именно поэтому у Бродского интересно решительно все — вплоть до шуточных почеркушек.

Первую серьезную попытку собрать все написанное к тому времени И. Бродским предпринял в начале 70-х В. Марамзин. Исключительно неблагоприятные обстоятельства не помешали ему с академической дотошностью проделать огромную

работу по розысканию, датировке и комментированию текстов и вариантов. Все найденное предъявлялось автору, проходило авторскую правку и отбор.
К сожалению, вследствие эмиграции — сначала Бродского, а затем и Марамзина — работа эта завершена не была, но и в незавершенном виде она принадлежит не только истории литературы, но вызывает живую читательскую благодарность. При известном безразличии Бродского к судьбе своих текстов, нынешнее собрание в отсутствие «марамзинского» вряд ли было бы сейчас возможно.
В предлагаемом нами собрании порядок публикуемых текстов
таков: сперва идут во временном порядке те, что датированы точно, за ними по алфавиту — тексты в каждом указанном промежутке.
Крупные вещи, работавшиеся не один год, помещены под годом завершения.
В случаях, когда вместе с датой автор указывал место написания текста, мы это воспроизводим. Предположительные датировки сопровождаются знаком вопроса.
Обращаем внимание на необычность пунктуации в ранних вещах: она больше связана с характером дыхания поэтической ткани, чем со школьным синтаксисом. Мы сохранили везде, где возможно, авторские знаки и некоторые особенности орфографии.

СОДЕРЖАНИЕ

Нобелевская лекция 5
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ 1957
«Прощай...» 19
1958
«Еврейское кладбище около Ленинграда...» 20
Пилигримы ("Мимо ристалищ, капищ...") 21
Стихи под эпиграфом ("Каждый пред
Богом наг...") 22
1959
Лирика ("Через два года...") 23
Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном
кальвинистами ("Истинные случаи иногда становятся
притчами...") 24
1960
Элегия ("Издержки духа — выкрики ума...") 26
«Теперь все чаще чувствую усталость...» 27
Глаголы ("Меня окружают молчаливые глаголы...") 28
«Лети отсюда, белый мотылек...» 29
Сад ("О, как ты пуст и нем!..") .....*..... 30
Стрельнинская элегия ("Дворцов и замков свет, дворцов и
замков...") 31
Через два года ("Нет, мы не стали глуше или старше...") . . 33
Песенка ("По холмам поднебесья...") 34
1961
«Приходит время сожалений...» 35
«Приходит март. Я сызнова служу...» 36
Три главы ("Когда-нибудь, болтливый умник...") 37
Гость (Поэма) 40
Памяти Е. А Баратынского ("Поэты пушкинской поры...") . . 44
Витезслав Незвал ("На Карловом мосту ты улыбнешься...") . . 46
«Уезжай, уезжай, уезжай...» 47

Петербургский роман 48
Июльское интермеццо
1. В письме на Юг ("Ты уехал на Юг, а здесь
настали теплые дни...") 68
2. «Люби проездом родину друзей...» 70
4. «Воротишься на родину. Ну что ж...» 71
5. Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона ("Металлический зов в полночь...") 71
6. Романс ("Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед,
взмахни рукой...") 73
7. Современная песня ("Человек приходит к
развалинам снова и снова...") 74
8. Июльское интермеццо ("Девушки, которых мы обнимали...") 75
9. Августовские любовники ("Августовские
любовники...") 76
10. Проплывают облака ("Слышишь ли, слышишь ли
ты в роще детское пение...") 77
Шествие (Поэма-мистерия) 79
Рождественский романс ("Плывет в тоске необъяснимой...") . . 134
Я как Улисс ("Зима, зима, я еду по зиме...") 136
«Бессмертия у смерти не прошу...» 137
«В деревне никто не сходит с ума...» 138
В темноте у окна ("В темноте у окна...") 139
1962
«...Мой голос, торопливый и неясный...» 143
Письмо к А. Д. ("Все равно ты не слышишь...") 144
«Уже три месяца подряд...» 146
«Я обнял эти плечи и взглянул...» 147
«Прошел сквозь монастырский сад...» 148
Зофья (Поэма) 149
Стансы городу ("Да не будет дано...") 168
«Ни тоски, ни любви, ни печали...» 169
Диалог ("Там он лежит, на склоне...") 170
Инструкция опечааенным ("Я ждал автобус в городе
Иркутске...") 172
«Под вечер он видит, застывши в дверях...» 173
«В тот вечер возле нашего огня...» 176
«Закричат и захлопочут петухи...» 178
Дорогому Д. Б. ("Вы поете вдвоем...") 180
Отрывок ("На вас не поднимается рука...") 181
«Пограничной водой наливается куст...» 182
«Я шел сквозь рощу, думая о том...» 183
«Все чуждо в доме новому жильцу...» 184
«Эстонские деревья озабоченно...» .....' . . 185
«Откуда к нам пришла зима...» 186
Сонет ("Мы снова проживаем у залива...") 188
«Топилась печь. Огонь дрожал во тьме...» 189
«Когда подойдет к изголовью...» 190
Загадка ангелу ("Мир одеял разрушен сном...") 191
«Затем, чтоб пустым разговорцем...»..... 193

Крик в Шереметьево ("Что ты плачешь...") 194
«Мы вышли с почты прямо на канал...» 195
На титульном листе ("Ты, кажется, искал здесь? Не ищи...") . 196
Ночной полет ("В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч...") 197
«Огонь, ты слышишь, начал угасать...»..... 199
«Они вдвоем глядят в соседний сад...» 200
От окраины к центру ("Вот я вновь посетил...") 201
Притча ("Пусть дым совьется в виде той петли...") 205
Сонет ("Великий Гектор стрелами убит...") 206
Сонет ("Прошел январь за окнами тюрьмы...") 207
Сонет ("Я снова слышу голос твой тоскливый...") 208
Стансы ("Ни страны, ни погоста...") 209
«Ты поскачешь во мраке...» 210
Утренняя почта для А. А. Ахматовой из г. Сестрорецка ("В кустах Финляндии бессмертной...") 212
Холмы ("Вместе они любили...") 213
«Не то Вам говорю, не то...» 219
«Что ветру говорят кусты...» 220
В семейный альбом ("Не мы ли здесь, о посмотри...") 221
«Вдоль темно-желтых квартир...» 223
«Черные города...» 225
1963
На смерть Роберта Фроста ("Значит, и ты уснул...") 229
«Деревья окружили пруд...» 230
Большая элегия Джону Донну ("Джон Донн уснул...") 231
«Блестит залив, и ветр несет...» 236
Другу-стихотворцу ("Нет, не посетует Муза...") 237
«Подтверждается дым из трубы...» 238
«Вот я вновь принимаю парад...» 239
Из «Старых английских песен»:
«Заспорят ночью мать с отцом...» 240
Горячая изгородь ("Снег скрыл от глаз гряду камней...") 241
«Замерзший повод жжет ладонь...» 242
Зимняя свадьба ("Я вышла замуж в январе...") 243
Переселение ("Дверь хлопнула, и вот они вдвоем...") 244
«В деревянном доме, в ночи...» 245
В замерзшем песке ("Трехцветных птичек голоса...") 246
Прилив ("Верней...") 247
В горчичном лесу ("Гулко дятел стучит по пустым...") 248
«В твоих часах не только ход, но тишь...» 251
Исаак и Авраам ("Идем, Исак. Чего ты встал? Идем...") . . . 252
«Мои слова, я думаю, умрут...» 267
Окна ("Дом на отшибе сдерживает грязь...") 268
«Покинул во тьме постель...» 269
«Стог сена и загон овечий...» 271
Телефонная песня ("Вослед за тем последует другой...") 272
«Шум ливня воскрешает по углам...» 273
Ex oriente ("Да, точно так же, как Тит Ливии, он...") 274
«Зажегся свет. Мелькнула тень в окне...» 275
Полевая эклога ("Стрекоза задевает волну...") 276

Стекло ("Ступенька за ступенькой, дальше, вниз...") 281
Рождество 1963 года ("Спаситель родился...") 282
Иосиф Бродский: Новая Одиссея 283
От составителя 298

Бродский И.
Б 88 Сочинения Иосифа Бродского. Том I.— СПб.: Пушкинский фонд, 2001.— 304 с.
ISBN 5-89803-066-2 (т. I) ISBN 5-89803-065-4
В первый том вошли стихотворения 1957—1963 гг. После смерти поэта право на издание предоставлено «Фондом Наследственного Имущества Иосифа Бродского».
УДК882Б2 ББК84.Р7
СОЧИНЕНИЯ Иосифа Бродского
Том I
Технический редактор Л. Б. Куприянова Корректор Н. В. Кузнецова Менеджер издания Э. М. Рыбакова
Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 071541 от 25 ноября 1997 г.
Подписано в печать 25.11.2000. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 22,23. Уч.-изд. л. 17,1. Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 2423.
Издательство «Пушкинский фонд». 191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 20.
Отпечатано с диапозитивов в ГПП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.